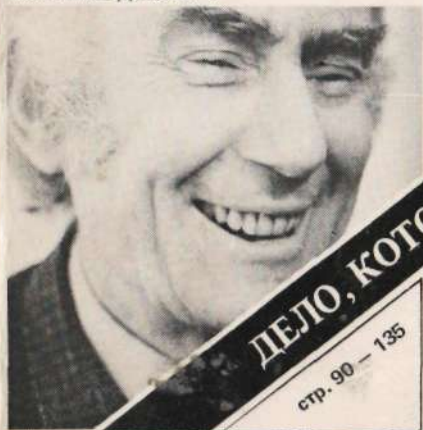


ВРЕМЯ ИДЕИ 11 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЮ —
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ

Бывший начальник генерального штаба
израильской армии Моше Даян ▶
Бывший министр обороны Пинхас Лавон
Бывший начальник военной разведки
Беньямин Джибли ▼



ДЕЛО, КОТОРОЕ ТЯНЕТСЯ 22 ГОДА

стр. 90 — 135

ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 11 сентябрь 1976 *Выходит один раз в месяц*

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Марек Хласко

"Обращенный в Яффо" 3

Лев Меламид

"Сладкая жизнь Никиты Хряща" 50

ПОЭЗИЯ

Лия Владимирова

"Баллады о временах года" 78

Из новых переводов 84

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Ледер

"Афера, или дело, которое
тянется 22 года" 90

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Зеев Кац

"Вера для неверующих" 136

КРИТИКА

Наталья Рубинштейн

"Жить во лжи" 149

ИЗ ПРОШЛОГО

Д. Байкальский

"Кашкетинские расстрелы" 164

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Стефан Цвейг

"Не внешняя мишура, но внутреннее воспитание" 193

Макс Брод

"Любовь на расстоянии" 196

Шарль Раппопорт

"Еврейский абсентеизм и "аристократы духа" 203

Давид Гофштейн

"Трепещущая боль немая..." 208

Коротко об авторах 218

DIGEST OF 11 ISSUE

OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE"). 219

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия

Фаина Баазова

Михаил Ледер

Георгий Бен

Борис Орлов (*зам. гл. редактора*)

Лия Владимирова

Наталья Рубинштейн

Егошуа А. Гильбоа

Дмитрий Сегал

Илья Гольденфельд

Йосеф Текоа

Михаил Калик

Аарон Ярив

Представитель журнала в США Эдуард Штейн

7 Miles Ave, Woodbridge,

Conn. 06525 t. (203) 387-05-97.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, январь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко



Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

МИР, УБИВАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКА

Марек Хласко, родившийся в 1934 году, принадлежал к тому поколению польской молодежи, которое формировалось в обстановке "социалистической" Польши и, вступая в жизнь, пережило неизбежный крах юношеских идеалов, разочарование во всех моральных ценностях, преподносимых официальной пропагандой в качестве непреложных и уже утвержденных в жизни.

Хласко дебютировал в 1956 году сборником рассказов "Первый шаг в облаках", герои которого один за другим — все без исключения — делали первый шаг из идеального мира своей юности в реальный мир лицемерия, лжи и насилия. Они неожиданно открывали правду: она заключалась в том, что все — ложь. Верный друг оказывался предателем, девушка первой любви — проституткой, мудрые учителя и наставники жизни — мелкими демагогами и корыстолюбцами. С этого урока они начинали свой жизненный путь, чтобы, пройдя по нему, превратиться в героев "Обращенного в Яффо" — одной из последних книг Хласко.

Писатель сразу нашел своего героя и оставался ему верен на протяжении всего творчества. Рядом с героем он рано ощутил и самого себя, и один из ранних рассказов Марека Хласко "Петля" — словно пророческое предвестие того конца, к которому пришла его собственная жизнь полтора десятилетия спустя.

Покинув Польшу, Хласко много странствовал по миру, подолгу живал в Израиле. Повесть "Обращенный в Яффо" несомненно заставит читателя вспомнить о стилистических принципах хемингуэвской прозы. Этого не было в более ранних произведениях автора. Однако Хласко обращается к Хемингуэю не как к образцу — напротив, внешнее сходство стилистической игры понадобилось для ревизии "хемингуэвских ценностей". По сравнению с героями юношеской прозы Хласко персонажи его последней книги утратили все иллюзии и всю веру, из обманутых стали обманщиками, из подопытных — экспериментаторами и иллюзионистами.

Было бы неверно думать, что Хласко пишет о жуликах и подлецах. Он рассказывает о том, как ложь, ставшая законом жизни, делает невозможным продолжать жить. О том, как мир, утративший истинные ценности, деформирует и убивает в человеке человека.

Рафаил Нудельман



Мареk ХЛАСКО

ОБРАЩЕННЫЙ В ЯФФО

Все было бы ничего, если бы не Роберт. Мы немного подработали в Тель-Авиве и теперь направлялись в Тверию вместе с новой собакой. В автобусе все уже спали. Я смотрел на собаку.

— Придется ее подкормить, — сказал я.

— Ты прав, — ответил Роберт. — Вид у нее неважный.

— На это уйдет не меньше двух недель. В Тверии все дороже, чем в Тель-Авиве.

— Плохо, что в гостинице не позволяют варить. А то можно бы кормить ее кашей. От каши толстеют быстрее всего.

— Угм. Особенно, если добавить в нее мясо.

— Ну, не знаю. По-моему, она какая-то заносчивая. Пожалуй, с нее станет сожрать все мясо, а кашу оставить. Что ты, собственно, о ней знаешь?

— Я знаю, что ее ждет, — сказал я. — Это уже что-то.

— Каждого из нас когда-нибудь ждет то же самое. Это как раз ерунда. Слушай, может, повернуть дело так: вроде тебе самому нечего жрать, и вот вы делитесь с ней последним куском?

Я не ответил. Я смотрел на девушку, которая сидела рядом с нами; на ее прямой нос и курчавые волосы.

— Ты тоже в Тверию? — спросил я.

— Да.

— И долго ты там пробудешь?

— Это зависит...

— От погоды?

— Нет. От того, кто будет за меня платить. А ты?

— Это зависит...

— От погоды?

— От той, которая будет за нас платить.

— И за собаку?

— Без собаки мы не работаем.

Она повернулась ко мне, и я увидел маленький шрам у основания ее носа. Этот шрам совсем ее не портил, и я подумал, что через месяц, когда с лица сойдет загар, этот маленький шрам станет совсем незаметным.

— Значит, это ты убиваешь собак? — спросила она.

— Я предпочел бы убивать людей.

— Ты только так говоришь.

— Во всяком случае, я так думаю. Это тоже что-то. У тебя никогда не было охоты убить того, который за тебя платил?

— Мне это как-то в голову не приходило.

— И пусть не приходит. Пусть тебе кажется, что у тебя нет охоты убивать. Так будет лучше.

— Сколько собак ты уже убил?

— Я всегда убиваю одну и ту же.

Всякий раз мне кажется, что я стреляю в ту же самую собаку. Иногда это бульдог, иногда овчарка. Но мне всегда кажется, что это та же самая собака. И это хуже всего.

Она порылась в сумочке и вытащила оттуда бутылку "Стока". Она плеснула мне немного коньяку в алюминиевый стаканчик. В этом проклятом автобусе у всех лязгали зубы, но ее рука даже не дрогнула.

— Выпей, — сказала она.

— Ни в коем случае! — всполошился Роберт. — Ему нельзя пить.

— Почему?

— От алкоголя у него распухает лицо. Он становится уважаемым. А у него должно быть изборожденное морщинами лицо. Ради Бога, не уговаривай его пить. Ты же не хочешь испортить нам все дело? Страдания избородили его лицо морщинами, неужели ты не понимаешь?

— А из-за чего он так страдал? — спросила девушка.

— Это как раз то самое, о чем ничего наперед неизвестно. Все зависит от той, с кем он обручится. Если у нее муж удрал с деньгами и молоденькой девчонкой, то он страдает оттого, что его девушка ушла от него с богатым типом, которого она ненавидела. Мы строим одну историю из двух, понимаешь? Мы показываем этой женщине фотографию, и все идет как по маслу.

— Фотографию его девушки?

— Нет. Того типа, с которым она ушла. Это тоньше. Хранить фотографию девушки, которая от тебя ушла, может каждый. Это затасканный трюк. Мы показываем фотографию того, с кем она ушла. У нас целый набор фотографий всяких дебилов, которые с младенчества страдали полиомиелитом, раком и наследственным алкоголизмом. Видишь ли, он никак не может этого понять. Поэтому он хранит эту фотографию. И тогда наша баба смотрит на морду того дебила, а потом на его лицо, и готова ситуация. Понимаешь? Он страдает и в то же время никак не может понять, как могла женщина, с которой он провел весну своей жизни, уйти от него с таким человеком... — Он замолчал, а потом добавил: — Единственную и неповторимую весну. Понимаешь?

— Угм.

— Но можно все дело повернуть иначе, — если нашу бабу, не дай Бог, никто не бросил. Тогда мы показываем ей фотографию девушки. Он все время думает об этой девушке, с того самого дня, когда она погибла в автомобильной катастрофе, и эта фотография — самое святое для него. Но теперь он встретил эту бабу и отдает ей самое святое. Это, ясно, еще не все, но уже кое-что.

— У тебя с собой эта фотография?

— Девушки или того, который удрал с деньгами?

— Девушки.

Роберт полез в портфель и достал фотографию. Она посмотрела и отдала ее назад.

— Слишком чистый снимок, — сказала она.

— В каком смысле?

— Такой снимок должен быть здорово затрепан. Он же столько лет хранил его в бумажнике или там в кармане, не знаю, и было жарко и сыро, а эта карточка выглядит так, будто тебе ее только что выдали в фотографии. Вам нужно ее затрепать.

— Слушай, не учи меня, я тебя умоляю, — сказал Роберт. — Я тебе показал оригинал.

— Мог не трудиться. Достаточно было сказать, что эта иерусалимская проститутка, Ева, позволила вам себя сфотографировать.

— Не вздумай кому-нибудь это говорить! — закричал Роберт. — Эта девушка погибла в автомобильной катастрофе, много лет назад! Посмотри, у него уже есть седые волосы! — Он повернулся ко мне. — Плохо дело. Если твоей бабе вздумается поставить эту карточку на свой ночной столик, любой тип, который знал Еву, может нас заложить.

— Никто вас не заложит, — сказала девушка.

— Предосторожность никогда не мешает.

— Ева покончила с собой, — сказала она. — Вы разве не знали?

— Неужели? — сказал Роберт. — Слава Богу. Не нужно будет тратиться на новый снимок. А если кто-нибудь заметит, ты скажешь, что это просто случайное сходство. Тут ты можешь даже улыбнуться и сказать, что она, мол, была похожа на проститутку. Но эта твоя баба должна понять, что ты просто хочешь растравить свою рану. Ты немножко мазохист. Те, кто много страдал, часто становятся мазохистами. — Он замолчал, а потом добавил. — Впрочем, нет. Все это чушь. Все наоборот. В этом месте на твоём лице должно появиться выражение глубокого страдания. Это будет говорить в твою пользу. Понимаешь? Самоубийство жалкой проститутки напомнило тебе смерть твоей возлюбленной. Нет, ты понимаешь? Эта новая на тебя смотрит, но ты не можешь скрыть

свое страдание, хотя знаешь, что новой это будет неприятно. Но твои чувства сильнее соображений разума. Потом вы, конечно, помиритесь.

Девушка наклонилась ко мне, и я почувствовал ее горячее дыхание. Она провела рукой по моему виску.

— Верно, — сказала она. — Ты седеешь. Через два года ты будешь совсем седой. — Я слегка наклонился к ней, но она отодвинулась. — И тебе их не жалко? — спросила она.

— Все бабы клиентки, — сказал я. — Верно, Роберт?

— Это он только так говорит, — вмешался Роберт. — Он суровый парень, но сердце у него золотое. Трудная жизнь. Вечно приходилось защищаться. Боится людей и избегает их. Одни в таких случаях рвутся к власти, а другие сторонятся людей. Он из тех, кто сторонится.

— Все бабы клиентки, — повторил я. — Можешь верить, можешь не верить. Клиентки, и все. Но в конце концов я все равно останусь один и без денег. А теперь я хочу спать.

Но я не мог заснуть. Может быть, все дело было в шофере, который вел автобус так, словно ему платили премиальные за лязг наших зубов; а может, мне попросту мешала мысль о том, что эта девушка сидит рядом со мной и мне приходилось время от времени поворачиваться, когда мы проезжали освещенные перекрестки, и тогда я видел ее профиль: прямой нос, сильная шея, чуть курчавые волосы. Не знаю почему, только я не мог на нее смотреть. Через два сиденья от нас ехала какая-то интересная блондинка, но она меня нисколько не интересовала. Она была слишком молода для клиентки. Ей не хватало еще лет десяти, а может, пятнадцати, только в здешнем климате женщины старятся быстрее, а она выглядела местной, и все равно ей наверняка нечем было бы платить. Мне даже было ее немного жаль.

Я повернулся к девушке с темными волосами и сильной шеей и толкнул ее в бок.

— Дай мне все же немного коньяку. Не могу уснуть.

— Я тебя умоляю, не пей! — взмолился Роберт. — Ты же знаешь, что ты распухнешь.

— Я приму "Диамокс".

— Что такое "Диамокс"? — спросила темноволосая.

— Это средство для обезвоживания организма, — объяснил Роберт. — Когда он чересчур много пьет, у него распухает лицо, и тогда я даю ему утром две таблетки "Диамокса". И опять у него морда становится, как у Жана Габена.

— Это не мои слова, — запротестовал я.

— Ясно, не твои. Это твои невесты так говорят. Помнишь ту девушку из Бостона, которая покончила с собой?

— Нет. — Я солгал; я помнил и знал, что буду помнить всегда. Она была веснушчатой и так удивительно как-то потела.

— Неужели не помнишь?

— Нет.

— Ну, ту, что забеременела и выпрыгнула в окно? Поднялась на двадцатый этаж и в плавный пустилась полет?

— Теперь вспоминаю, — сказал я и рассмеялся.

— Над чем ты смеешься?

— Над тем, что ты вечно преувеличиваешь. Это был шестой этаж.

Я взял стаканчик, а эта девушка смотрела на меня и смеялась вместе со мной.

— Все-таки не стоило бы тебе пить, — заявил Роберт.

— С какой стати? У нас целая банка "Диамокса". Да не бойся ты! Я не распухну.

— Не в этом дело, — сказал Роберт. — Когда ты пьян, ты становишься омерзительным. Пойми, ты человек опустившийся, ты из тех, которые проиграли, но в глубине души ты — чистый человек. — Он повернулся к девушке, которая сидела рядом с нами. — Правда, он именно так выглядит?

Она посмотрела на меня.

— О мужчинах ничего нельзя сказать, пока они не начинают рассказывать о своих женах. И о том, почему они с ними несчастны. И о том...

— Я могу продолжить, — сказал я. — И еще они говорят, что разочаровались во всех философиях и идеологиях и что единственный грех, который человек может совершить, — это упустить минуту настоящего переживания. И тут же, конечно, добавляют, что они имеют в виду не только секс, а вообще любую минуту настоящего переживания. У одного

это катание на моторке, у другого — одинокие часы с удочкой в руках. ТОЛЬКО ОНИ говорят это всегда в тот самый момент, когда начинают снимать штаны. Верно?

— Да.

— Ради Бога, не вздумай это говорить! — закричал Роберт, и на лице его я увидел настоящий страх. — Это прекрасный текст, но он же совершенно не подходит к нашей ситуации.

— К нашей? — переспросил я. — С каких это пор мы раздеваем ее вдвоем? До сих пор это всегда делал я. Но если тебе так хочется — милости прошу. Можешь дебютировать в Тверии. Кто знает, может, ты и вправду женишься и отправишься с ней за океан.

— Я тебя умоляю, не нервируй меня! Я должен сосредоточиться. Я знаю, тебе кажется, что все это легко, что тут нет никакого риска. Если бы ты только знал, как много зависит от нюансов! Стоит сорваться на какой-нибудь ерунде, и все дело пойдет насмарку.

— Ты мне надоел, — сказал я. — Можешь размышлять о своих нюансах, если тебе это нравится. Для меня все они — клиентки. У меня уникальный психологический вывих — врожденная склонность к богатым женщинам. — Я повернулся к девушке. — Ты бы не могла налить мне еще коньяку?

— Это последний раз! — заявил Роберт. — Если завтра у тебя будет распухшая морда и даже если я дам тебе две таблетки "Диамокса", все равно до вечера на тебя нечего рассчитывать. Так быстро ты в форму не придешь. И опять день потерян. Ты подумай, сколько стоит номер в гостинице! В Тверии все дороже, чем в Тель-Авиве.

— И что из этого? — сказал я. — Я пью, потому что у меня неприятности. Я пью, потому что не могу уснуть. Потому что снотворное мне уже не помогает. Только эта женщина дарит мне забвение без снотворного и без алкоголя. Странно, как ты до сих пор до этого не додумался. Любая женщина придет в восторг, если ты ей скажешь, что она дарит тебе забвение. Нет такой идиотки, которая не пришла бы в восторг, если ты ей скажешь, что ее роскошное тело... Впрочем, дальше ты сам знаешь. — Я помолчал и добавил: — Ох, уж это ее роскошное тело!

— А знаешь, это неглупо. Ты прав, любая женщина приходит в восторг, когда ей говорят, что она дарит тебе забвение. Но лучше всего — насчет снотворного. Насчет того, что оно тебе уже не помогает. Теперь тебе, наверно, придется выстрелить себе в висок. Да, но как сделать, чтобы ты промахнулся из револьвера девятого калибра, приставленного прямо к виску? Это единственное, чего я не понимаю. Дальше все пойдет как по маслу. — Он наклонился через мое плечо к той девушке и сказал. — Ничего не соображает, верно? Просто удивительно, что с таким человеком мне все-таки удастся изредка что-нибудь заработать. Один Бог знает, что я переживаю, когда оставляю его наедине с какой-нибудь из них. Один Бог — и я.

— Дай ему выпить, — сказала она.

— Ладно, пусть выпьет. Он и так давно уже не пил. Может, и не распухнет. — Он провел рукой по моему виску и добавил. — И так его ждет бессонная ночь. А после бессонной ночи он все равно превратится в страшилище.

— Вы разве не заночуете в Хайфе?

— Нет. Нужно будет только купить ему в аптеке порошки. В Тель-Авиве нам уже не продают. Поэтому мы едем кружной дорогой. Каждый рецепт стоит нам вдвое.

— И, конечно, каждый выписан на выдуманную фамилию?

— Нет. Это ни к чему. Все рецепты на его имя. Ведь вся трагедия в том, что он не может спать, поэтому у него чертова прорва всяких порошков. Ведь если б у него не было этих порошков, он и впрямь мог бы застрелиться.

— Я мог бы сначала застрелить собаку и оставить последнюю пулю для себя.

— Я тебя умоляю, не учи меня. Когда он убивает собаку, он ни о чем не думает. Это тип депрессивного маньяка, который впал в бешенство. Он убивает любимое животное, а потом его мучает раскаяние. Но револьвер уже пуст. Остаются только порошки.

— Но ведь он мог бы повеситься.

— Слушай, не давай мне советов. У каждого самоубийцы свой излюбленный вид смерти. Один способен только отравиться, другой — застрелиться, а третий вешается на дверной

ручке. Депрессивные маньяки не признают универсального способа самоубийства. Любой врач тебе подтвердит. В том-то и дело, что их невозможно устеречь, потому что каждый придумывает, как бы ему дать дуба на свой манер.

— Есть такие, которые кончают с собой в исступлении, тогда им все равно как.

— Да, но это все люди, которые впали в бешенство или пережили какое-нибудь страшное несчастье. Такие прыгают из окон и вскрывают себе вены. Но это не его случай. Он так долго страдал, что пришел в отчаяние. А теперь он встретил женщину, с которой он не может быть вместе... ну, дальше ты уже сама понимаешь.

— Дай мне еще глоток, — сказал я.

— Я тебе дам всю бутылку, только дай мне спать.

— Я не хочу, чтобы ты спала. Я хочу с тобой разговаривать. И еще я хочу, чтобы ты ко мне повернулась.

Она повернулась, и я снова увидел прямой нос, и сильную шею, и маленький шрам.

— Это о тебе сочинили рассказ "Мои зеленые глаза и красивый рот"?

— Я ведь тебе сказала, куда я еду. И зачем я там остаюсь. И за какие деньги я там останусь.

Я был уже немного под мухой. Позади у меня было три дня в больнице и тяжелый день хамсина, и поесть в этот день как следует мне тоже не удалось, и поэтому крепкий израильский коньяк растекался сейчас по жилам как огонь.

— Значит, это о тебе сочинили рассказ "Мои зеленые глаза и красивый рот"? — повторил я. — Если это про тебя, то где же этот человек тебя увидел? Тот, что написал этот рассказ? Ты тогда тоже ехала в Тверию и тоже еще не знала, сколько там пробудешь?

Она не ответила, и я почувствовал, что засыпаю. Я выпил почти полбутылки, и потом, как я уже говорил, позади у меня были три дня в больнице и еще день хамсина в Тель-Авиве; ну, и еще эта моя невеста, которая сейчас летела в "Боинге" в Калифорнию, чтобы там ждать меня; а до того, как я ее встретил, у меня было много других невест и много других дней в больницах. А еще до этого было время голода и без-

работицы. А еще до голода и безработицы была психиатрическая больница; а еще раньше была тюрьма. И вот сейчас, в автобусе на Тверию через Хайфу, я вдруг подумал, что вовсе не ищу себе оправдания, потому что человеку, которому не повезло, вовсе не нужно объяснять, почему у него нет на гостиницу, чашку кофе или бифштекс.

— Роберт, — спросил я, — почему неудача не требует объяснения? Почему проигравшего никто никогда не спрашивает, почему он проиграл?

— Не забывай себе голову.

— Я хочу забивать себе голову.

— Только удачу нужно объяснять, — сказал Роберт.

— Но почему, почему?

— Чтобы другие пошли тем же путем.

— И чтобы они проиграли?

— Это уже не имеет значения. Не думай об этом. Думай лучше о своей невесте.

Я повернулся к девушке, которая дала мне бутылку бренди. Она все еще не спала, и на лице ее не было видно усталости; я видел это, когда мы проезжали мимо бензоколонок и через освещенные перекрестки.

— Тебе следовало бы называться Эстер, — сказал я. — У меня была когда-то девушка, которую звали Эстер. А потом она забеременела, и ее родители велели ей выскрести ребенка, потому что они меня ненавидели. Но она ужасно боялась, и какая-то из подружек сказала ей, что если переспать с другим мужчиной, то его сперма убьет мою. И она так и сделала, потому что она ужасно боялась врача. А потом она мне все рассказала, и я больше никогда к ней не приходил. И это была моя последняя девушка.

— Если не считать всех тех женщин, что были у тебя потом, — сказала она. — И собак. А собак было ровно столько же, сколько женщин.

— Неправда, — возразил я. — Это не были женщины. Это были клиентки. И всегда одна и та же собака.

— Постеснялись бы хоть женщин и детей, — раздался чей-то голос сзади. — Просто неприлично говорить о таких вещах в автобусе.

— А о чем прилично говорить в автобусе? — спросил я не оборачиваясь. — Скажи мне, ты, дерьмо собачье!

— Я тебе скажу! Я тебе все скажу в Хайфе, на станции! — крикнул голос. — Там, где дежурит полицейский!

Водитель притормозил и повернулся к нам. Он, наверно, был из Марокко; а впрочем, Бог его знает, откуда он был. Глядя на его узкое лицо и холодные глаза, я подумал, что не хотел бы встретиться с ним в темном месте.

— Не хотел бы я встретиться с тобой в темном месте, — сказал я ему.

Он даже не глянул на меня; его лицо было непроницаемым, и он ни чуточки не вспотел, тогда как наши рубахи были насквозь мокрые и под мышками — белые от соли; на нем была плотная рубаха и такая же плотная шапка с металлическим ободком.

— Хайфа! — сказал он.

Я взял собаку и двинулся к выходу; Роберт шел за мной вместе с девушкой. У нас оставалось еще два часа; в аптеке напротив станции Роберт купил две большие пачки "Амитал Содиум", и мы решили выпить по кружке пива. В баре было пусто, и едва мы вошли, кельнер включил вентилятор.

— Хотел бы я знать, что было бы, если бы мы не зашли? — спросил его Роберт. — Неужели ты ухитряешься работать без вентилятора? Что ты, собственно, экономишь — воздух или электричество?

— И воздух, и электричество, — ответил кельнер. — Что вам подать?

— Три раза "Гольдстар", — сказал Роберт.

Кельнер не пошевелился; он пристально посмотрел на меня, потом на собаку, которую я все еще держал на поводке. Потом он полез под прилавок и вытащил оттуда газету, и я понял, что он не читает, а разглядывает какую-то фотографию. Это продолжалось с минуту; потом он старательно сложил газету, сунул ее в ящик и, не глядя на нас, подошел к двери и выключил вентилятор; лопасти замерли.

— Это вы, — сказал он.

— Да, — ответил Роберт. — Это мы. А теперь дай нам три раза "Гольдстар" и включи вентилятор.

Кельнер молча стоял за прилавком, разглядывая нас без всякого интереса. Я почувствовал, как пот течет у меня по спине и посмотрел на девушку, но на ней не было ни капли пота. Собака лежала на каменном полу и тяжело дышала.

— Дай нам три раза "Гольдстар", — сказал я кельнеру, но он только отрицательно покачал головой. Тогда я полез в карман и положил на прилавок деньги. Он пересчитал их; спрятал в ящик и, подойдя к двери, включил вентилятор. Резиновые лопасти снова зашумели. И он поставил перед нами три кружки пива.

— Ты читал о нас в газете, да? — спросил я кельнера.

— Дела идут неважно. Хватает времени почитать газету.

— Мы всегда платим.

— Тогда вы всегда можете сюда приходиться.

— Всегда или только, когда мы при деньгах?

Он снова посмотрел на нас, а потом перевел взгляд на собаку, лежавшую с вываленным языком.

— Сколько раз вы берете с собой собаку?

— Она у нас недавно. Не успеешь привыкнуть к одной собаке, как уже нужно искать другую.

— Скоро время дождей. Вы ничего не заработаете.

— У нас еще месяц впереди.

— А куда вы сейчас направляетесь?

— В Тверию.

— Хотя бы хорошенькая?

— Ты имеешь что-нибудь против американской валюты? — спросил Роберт.

— А что вы делаете, если попадается уродина?

— Тогда дело плохо. Приходится каждый день выставлять ему бутылку. Под бутылку у него кое-как получается. Ты же знаешь, как с этим делом обстоит.

— Нет, — сказал кельнер. — Я знаю, как обстояло.

Он снова посмотрел на нашу собаку.

— Я ей поставлю миску с водой, только спусти ее с поводка. Поводок короткий, она совсем замучилась. У меня тоже была собака, только она подохла. Но я найду какую-нибудь миску.

Он пошел за миской, а я спустил собаку с поводка и тут же понял, что восемьдесят фунтов, которые Роберт заплатил за нее сегодня утром, мы больше не увидим даже во сне; собака длинными прыжками помчалась в темноту, а мы стояли втроем в дверях бара, держа в руках кружки с холодным пивом, и смотрели ей вслед, пока она не превратилась в унылое воспоминание.

— Как ее зовут? — спросила девушка.

— Ты хотела спросить, как ее звали, — сказал я. — Ее звали Лузер.

— Что это значит?

— Тот, кто вечно проигрывает. Неудачник.

— Это ты придумал для нее такое имя?

— Да.

Она подошла ближе и прижалась ко мне.

— Минуточку! — воскликнул Роберт. — Он едет работать. Отложите это на потом.

Но она не отодвинулась; все так же держа кружку в руке, она обняла меня, а я снова, как час назад, в автобусе, ощутил на виске ее горячее дыхание, и это ее чистое горячее дыхание было сильнее, чем запах жареной рыбы, запах моря и запах карболки.

— Придумай мне тоже какое-нибудь имя, — попросила она.

— Хорошо. Ты будешь называться: Кот волшебника.

— Почему?

— Не знаю. А что может быть лучше для курвы? Все курвы называются Барбары или Марион. А в Германии все курвы называют себя русскими именами. Понятия не имею почему. Зато во всем Израиле нет ни одной курвы, которая называлась бы "Кот волшебника".

Она отстранилась от меня, а я все смотрел на ее губы, шептавшие имя, которое я для нее придумал. Одного она не знала, что так я называл Эстер, когда был еще вместе с ней, а она жила тогда в кибуце и выносила мне еду, и я ел тушенку прямо из банки, ножом. И она, конечно, не могла знать, что это Эстер давала мне забвение. Но теперь Эстер уже не было, а я и вправду не мог заснуть, и мне приходилось

глотать эти сволочные барбитураты. И еще об одном она не могла знать, что, когда я бываю с другими бабами, мне приходится все время думать об Эстер и повторять ее имя до самого конца, потому что иначе у меня ничего не получается. Этого она не знала; и Роберт этого не знал; и все эти мои невесты, которые спасали меня и строили для меня мост в светлое будущее, тоже этого не знали. Но не в том дело. Дело в том, что даже Эстер этого не знала. И мне всегда легко давалось рассказывать людям о себе все, что они хотели обо мне услышать; только это никак не удавалось.

Она поставила кружку на прилавок и сказала:

— Эта собака дрессированная. Она вовсе не из Яффо, где вы ее купили, она отсюда, из Хайфы, и ее только позавчера привезли в Яффо, к торговцу собаками. Сверните в первую улицу направо, это третий дом на правой стороне. И постучите в квартиру на первом этаже.

— Спасибо, — сказал Роберт, и я видел, что он искренне растроган. — Знаешь, эта собака стоила нам 80 фунтов? И ее еще придется подкормить. Не то что наш Клекс. — Он повернулся ко мне. — Помнишь нашего Клекса?

— Я убил его четыре дня назад.

— А когда ты убьешь этого? — спросила она.

— Хотелось бы как можно скорей, — сказал Роберт. — Но этого, разумеется, нельзя заранее предвидеть. С таким же успехом дело может затянуться и на неделю. — Он помолчал и добавил. — А может, и на две. Это было бы ужасно.

— Но не для собаки, — сказала она. — Собаку-то вы все равно застрелите.

— Она же об этом не знает. Зато это было бы ужасно для нас. Мы сейчас начинаем работать самостоятельно. До сих пор мы работали втроем, а порой и вчетвером. Сейчас мы идем на риск. Если выгорит, весь доход делится только между нами двумя. Господи, только бы выгорело!

Мы заплатили и вышли, и я опять видел перед собой ее сильную шею, и прямой нос, и брови, как крылья; и мне почему-то представился тот тип, который будет харить ее в Тверии и которому она будет говорить, что он лучше всех; а если и не лучше всех, то, уж во всяком случае, лучше, чем

просто хороший. И еще мне представилось одеяло на их постели, которое будет мокрым от пота, но это не она будет потеть, а он; ее тело останется сухим, сильным и упругим. Это только тело того типа, когда он уже будет кончать, вместо того чтобы твердеть, будет становиться все мягче и мягче, а потом он облепит всю ее этим своим телом, но все равно не измучит. Я не знаю, почему мне это представилось; наверно, я слишком много выпил в автобусе, и это было первое, что мне представилось. Только и это мне не помогло; я вспомнил, что у меня уже полным-полно седых волос, совсем как у того типа, который ждет ее в Тверии и которого она еще не знает. Если у него вообще есть еще волосы. И, подходя к дому того человека, который выдрессировал нашу собаку, я подумал еще, что, когда я буду совсем седой, у меня никогда не будет такой девушки — прямоносой, темноволосяй, крылобровой.

Мы постучали в дверь и сразу услышали лай нашей собачки. Человек, который нам открыл, стал в дверном проеме, широко расставив ноги, и мы не могли разглядеть его лицо, потому что свет падал сзади; но он видел наши лица.

— Я хотел бы вам только одну вещь сказать, — произнес он. — Я не так уж много людей знаю в Хайфе. Но я знаю самых худших.

— Интересно, — сказал Роберт, — а мы вот в Хайфе никого не знаем. Зато мы знаем кучу людей в Тель-Авиве, в Эйлате. И даже парочку в Сдоме. — Он повернулся ко мне. — Я, наверно, невежливо говорю, как ты находишь? Но он сказал, что знает самых худших. А мы знаем самых лучших. Тех, которые когда-то были самыми худшими, а теперь стали хорошими. Это самые спокойные люди. — Он снова обернулся к человеку, стоявшему в дверях. — Давай собаку!

— Я отдам вам деньги, — сказал тот. — Я передумал. Я не хочу продавать эту собаку.

— Почему?

Он улыбнулся.

— Ты говорил о тех, которые когда-то были самыми худшими, а теперь стали, как конфетка. Эта собака как раз

из таких. — Он молча посмотрел на нас, а потом добавил: — Я вам ее не продам. Я знаю, что вы хотите с ней сделать.

— Я не знаю ни одного торговца собаками в Хайфе, — задумчиво сказал Роберт. — Завтра утром я должен быть в Тверии, и я должен иметь собаку. Я не могу работать без собаки. Ну, скажи мне, зачем тебе эта собака? Ну, что тебе за дело, что мы с ней сделаем? — Он подошел к нему, и теперь они стояли друг против друга — оба грузные, тяжелые, бледные — и выглядели как чужеземцы, а не уроженцы этой страны, где солнце сжигает волосы, и кожу, и окраску тканей. — Слушай, ты хоть знаешь, что большинство человечества голодает? Что в Индии матери всучивают своих детей туристам, потому что им нечем их кормить? Ты бы хоть подумал о том, что рабочий за железным занавесом может позволить себе купить всего один костюм в месяц — один паршивый костюм, понимаешь?! Ну зачем тебе эта собака?

— Я ее не продам, — сказал тот. — Я отдам вам деньги.

— Но я не могу работать без собаки.

— Там, в Яффо, ты не сказал тому человеку, который тебе продал собаку, что вы собираетесь с ней сделать.

— Он нас не спрашивал. Его интересовали только наличные. Он получил свое, а мы хотим получить свое.

— Вам все равно не перестрелять всех собак. Если уж вы их стреляете, так стреляйте других, не мою.

— Послушай, ты же всего-навсего жалкий мошенник. Ты продаешь дрессированных собак, которые потом возвращаются к тебе.

— Конечно, я мошенник, — сказал тот. — Но ты еще слишком мало знаешь. У каждого есть свое слабое место. Я не дам вам убить эту собаку.

— Но я же не могу работать без собаки! Я тебе последний раз говорю!

Они молча стояли друг против друга, а я смотрел на них. И мне представилось, что тот тип, который ждал в Тверии эту девушку с прямым носом и сильным телом, наверно, похож на этих двух. И, наверно, он тоже будет сидеть часами на солнце, но кожа его все равно останется бледной; а ночью он будет потеть, и его пот будет течь по ее телу.

И все вокруг будет мокрым; их одеяло, ее тело; и пачка сигарет, лежащая рядом с ним на ночном столике, тоже станет мокрой, когда он коснется ее своей рукой — толстой, тяжелой и бессильной, как рука ребенка. И, наверно, запах его пота забьет запах ее тела, и запах рыб с озера Кенерет, и запах деревьев за окном. Эти двое были именно такими.

— Оставь, Роберт, — сказал я. — Обойдемся без этой собаки. Бери деньги и пошли. Я и так не уверен, что мы найдем сейчас такси на Тверию.

Он повернулся ко мне, и я увидел, что он весь вспотел, и не мог отвести от него глаз.

— Без собаки?

— Угм. Ты будешь подонком, который ради спасения своей жизни выдал немцам моего брата, а я теперь приехал в Тверию, чтобы тебе отомстить.

Роберт опустил в кресло и положил руки на подлокотники, а я посмотрел на два мокрых пятна и подумал, что через минуту все кресло, наверно, станет мокрым и пропитается запахом его пота.

— Но ведь ты бы мог обратиться к полиции, — задумчиво сказал он.

— Нет. Я хочу убить тебя собственными руками. Это не одно и то же. Я много лет ждал этого случая. Я специально для этого приехал в Израиль.

— Чтобы меня убить?

— Угм.

— Ну, хорошо, а что дальше?

— Не будет никакого "дальше". Я пересплю с этой лахудрой, а потом плюну тебе в морду и скажу: я хотел тебя убить, но любовь этой божественной женщины спасла тебе жизнь. Я не хочу, чтобы ты погиб. Живи еще сто лет и помни о своей подлости.

Он смотрел на меня, а я видел, что в том месте, где опиралась его голова, расплывалось темное пятно. Тот, второй, сидел на другом кресле, и мне пришлось перевести взгляд.

— Очень трогательная история, — Роберт печально покивал головой. — Жаль только, что на ней ни хрена не зарабо-

таешь. Кто тут кому должен платить? И за что, хотел бы я знать?!

— Лахудра раскошелится, — сказал я. — Сначала я тебе пригрожу револьвером, и тогда ты обратишься к адвокату. Потом ты заберешь свою жалобу. Но только за отступные. В конце концов, речь идет о твоей жизни, и ты имеешь все основания испугаться. Но твой адвокат тоже скотина и не согласен задаром братья за такие дела.

— Знаешь, это совсем неплохая идея, — оживился Роберт. — И не нужно будет возиться с этой гнусной собакой.

— Скажи ему, пусть гонит деньги, и мы уходим. Жаль времени. Может, мы еще поймаем какое-нибудь такси на Тверию.

— Гони деньги, — сказал Роберт.

Тот подошел к столу, и, когда он, тяжело двигаясь и тяжело дыша, шел по комнате, я увидел, что на его спине проступило потное пятно, и мне снова представилось, что тот тип, которого подцепит девушка из автобуса, будет так же тяжело дышать и она будет ощущать его дыхание на своем лице и на своей сильной шее, которая никак не выходила у меня из головы. Я встал и пошел за ним, и в ту минуту, когда он сунул руку в ящик стола, я сказал:

— У тебя стена разошлась. Вон там, под потолком...

И тогда он посмотрел туда и не успел вытащить руку из ящика, так что мне хватило времени опереться спиной о стену, и изо всей силы захлопнуть ящик ударом ноги, и, прежде чем он успел крикнуть, закрыть ему рот рукой.

— Бери собаку, Роберт, — сказал я. — Я тоже не могу работать без собаки. Эту басню о человеке, который хотел отомстить за брата, я где-то вычитал. Я не виноват, что он ее не читал. — Я наклонился над этим человеком и сказал: — Я их всегда убиваю с первого выстрела. Но эту твою собаку я буду убивать так, что она и с девятью пулями в брюхе будет еще полчаса извиваться по песку и выть. — Я поднялся с колен и открыл ящик; в нем не было ничего, если не считать двух монет по одной лире. — Полчаса будет извиваться и выть, — повторил я. — Но потеть она не будет. А все дело в поте, понимаешь?

Мы взяли собаку и пошли в сторону стоянки такси; и утром мы уже были в Тверии, и там я увидел того типа. Он сидел в шезлонге, и я видел только мокрые пятна от пота; а потом та девушка поднялась с песка, и к ее телу не прилипло ни песчинки; а потом моя лахудра тоже поднялась с песка, и вид у нее был такой, будто она перед тем искупалась в машинном масле, и она сказала мне:

— Отряхни меня, мое золотко. Кажется, я немного вспотела. Это все из-за климата.

И тогда я снова посмотрел на ту девушку из автобуса, и она посмотрела на меня, и мы оба знали, что пройдет еще много дней, прежде чем мы отсюда выберемся. Так мы стояли на солнце, глядя друг на друга, и наши тела были бронзового цвета и абсолютно сухие, и это было самое ужасное, потому что нам предстояло впитать бронзовый цвет своих тел, белый цвет чужих тел и в свою сухую кожу их скользкий пот.

Все было бы ничего, если бы не Роберт. В Тель-Авиве мы оторвали долларов по семьдесят и в Тверии примерно столько же, и этих денег нам вполне хватило бы дотянуть до весны, когда мои бабы снова начнут съезжаться на пляжи. Вполне хватило бы, если б Роберт не заявил:

— Мы будем крутить фильм.

Я знал, чем это кончится, но, вместо того чтобы сказать ему, что я откалываюсь и пусть крутит сам, если хочет, я почему-то выдал ему свою долю, и через пару дней мы уже сидели с ним в кафе "Нога", и с нами за столиком сидели еще двое. Одного из них звали Зискинд, и он был Президентом, другого именовали Алфавит, и он имел звание Вице-Президента, а вся эта затея представляла собой кучу бумажек со штампом "Ист Филм Корпорейшн". Говорить они были мастера. Вице-Президент стал рассказывать мне, что во время войны он жил в Копенгагене и что там находится величайшая в мире коллекция то ли этрусков, то ли еще каких-то ископаемых, не помню — я не очень внимательно прислушивался, потому что еще никогда в жизни не встречал человека, у которого так омерзительно пахло бы изо рта. Но Президент Зискинд заверил нас, что Вице-Президент Алфавит — самый

лучший Вице-Президент в израильском кино, потому что, если нужно провернуть какое-нибудь дело, ему стоит только поклониться к чиновнику или тому человеку, которому "Ист Филм Корпорейшн" должна деньги, — и дело сделано, потому что в мире нет такого человека, который смог бы устоять, когда Вице-Президент Алфавит на него дохнет. И когда я им заявил, что не намерен входить с ними в дело и хочу оставить свою долю при себе, Роберт сделал знак, и Вице-Президент наклонился ко мне, и через секунду они меня уже обчистили как липку; а на следующий день мы узнали, что оба они смылись из Израйла первым же самолетом и что все люди, которые на этом нагрели руки, сидят теперь в кафе "Нога" и обмениваются опытом. Но нас с Робертом там не было, потому что у нас не осталось даже на кофе; мы стояли в подворотне дома на улице Гесс и смотрели на нашу гостиницу. Дождливый сезон уже начался, и мы знали, что теперь до самой весны не заработаем ни гроша.

— Может, Гарри сдаст нам комнату... — с надеждой сказал Роберт.

— Если заплатишь, он даст тебе не только комнату.

— Ты воображаешь, что это остроумно?

— Нет, — сказал я. — Мне это и в голову не приходило. Мы с тобой просто стоим под дождем и беседуем. А хочешь, я тебе скажу, почему мы стоим под дождем? И почему я уже три дня ничего не жрал?

— Каждый может ошибиться.

— Вот именно. Потому мы здесь и стоим. Но это не потому, что я ошибся. Все потому, что Алфавит — самый лучший в Израйле Вице-Президент. Даже запах разлагающейся падали — ничто в сравнении с тем, как у него пахнет изо рта.

— Я еще до него доберусь.

Мы стояли под дождем, а напротив была наша гостиница, а на углу в кафе продавали жареное мясо и гамбургеры, и мы видели, как люди покупают гамбургеры и снова уходят в дождь. А лицо продавца было освещено огнем снизу, и казалось, будто он колдует над мясом.

— Неплохая сцена для твоего фильма, — сказал я. — Представляешь: двое стоят под дождем, а на углу продают мясо.

Люди подходят, и покупают, и идут дальше. Впрочем, я забыл, ведь в твоём фильме речь шла об отряде солдат, которые оказались посреди минного поля! Верно? И они ждут, кто первый рискнет и решится пойти по минам. А остальные уже пойдут следом, да? Ну, а что там должно было быть дальше?

— Не трави душу.

— Почему? Прекрасная ситуация. Только я бы предложил, чтобы вместе с ними был Вице-Президент Алфавит. Ему бы даже не пришлось вызываться добровольцем. Ребята сами бы постарались, чтоб он пошел первым.

— У тебя есть сигареты?

— Есть. Последняя. Постой, я сообразил: все должно быть иначе! Из всего отряда должен уцелеть один Алфавит. Понимаешь, — каждый из солдат идет добровольно на мины, лишь бы оказаться как можно дальше от него. Все они, понятно, погибают, и он остается один и идет по трупам, но черт его не берет. А потом командующий награждает его орденом за храбрость. Только ему придется награждать его в противогазе. Впрочем, противогаз тоже вряд ли может.

— Нам нужно продержаться всего один месяц, — уныло сказал Роберт. — Потом мы сможем двинуть в Эйлат. В это время там уже начнут собираться туристы.

Я не ответил: я стоял под дождем и смотрел на человека, который продавал мясо. А в кармане у меня была последняя сигарета. И еще там была куча фотокарточек Евы, этой девки из Иерусалима, которая покончила с собой. Но я ничего не мог на них сейчас заработать — ни на них, ни на карточках тех типов, которые увели мою девушку, — ту, которую я никак не мог забыть. Может быть, мне удастся на них заработать в Эйлате, недель через шесть. Даже через четыре, возможно; только не сейчас.

— Иди в гостиницу, — сказал я.

— Гарри не даст мне ключей.

— Я приду попозже с деньгами.

— Откуда?

— Это не твоё дело. Твоё дело думать о тех солдатах, что

сидят посреди минного поля. И о том, что Вице-Президент Алфавит будет единственным, которого наградят. Единственным, запомни!

Роберт ушел, а я направился в сторону улицы Аяркон. Возле кино, в темноте, стояли несколько человек, но мне не нужен был свет, чтобы припомнить, как выглядят их лица. Они стояли неподвижно и молча, и каждый из них держал в руке монету, и я подумал об их лицах, изборожденных морщинами и покорно-безнадежных. Они стояли молча и неподвижно, и я знал, что у каждого из них есть только одна лира и поэтому им не хватало пятого, чтобы купить порцию гашиша и выкурить ее, отбив предварительно горлышко бутылки и став в круг. Если им удастся найти пятого, они молча выкурят гашиш и так же молча разойдутся. Но я не мог быть пятым — у меня не было даже лиры.

Я вошел в подъезд и поднялся по лестнице. Я постучал и услышал в ответ:

— Входи.

Я вошел и остановился посреди комнаты. Человек, к которому я пришел, сидел за столом и раскладывал пасьянс.

— Я весь мокрый, — сказал я. — Я запачкаю тебе пол.

— В дождь все собаки мокрые, — отозвался он. — Где твоя собака?

— Мне сейчас не нужна собака. Собака мне понадобится недель через шесть. Самое меньшее — через месяц.

— Хочешь чаю?

— Я бы предпочел коньяк. Я продрог.

— Я не могу предложить тебе коньяк. Если ты собираешься сегодня ночью работать, тебе нельзя напиваться. Налей себе чай. Он еще горячий.

Я пошел в кухню и налил себе чаю, а потом вернулся в комнату и сел напротив него, глядя на его лицо, тяжелое и неподвижное.

— Откуда ты знаешь, что я собираюсь сегодня ночью работать? И почему мне из-за этого нельзя напиваться?

В первый раз за все время он поднял на меня глаза; но лицо его осталось неподвижным.

— Если ты пришел ко мне — значит, тебе нужны наличные.

— Мне нужны наличные. На один месяц. Можешь одолжить?

— Нет. Но могу дать заработать.

— И работа, как всегда, не из приятных, верно?

— Можешь быть спокоен. Тебя не засекут.

— Понятно. Уж ты-то знаешь, как сделать, чтоб не засекали.

Ну, валяй!

— Ты знаешь, что я теперь организовал фирму по перевозкам?

— Я даже знаю, что твоя фирма преуспевает. И могу тебе сказать почему. В мире нет такого жулика, как ты, когда речь идет об уплате налогов. Если верить твоим квитанциям, у тебя одни только убытки.

— Но это святая правда.

— Конечно. Потому что ты играешь.

— Какая разница, на чем я терплю убытки?

Я продрог, и чай меня не согрел. Я посмотрел на бутылку "Стока", которая стояла перед ним.

— Не валяй дурака, Айзик, — сказал я. — Дай мне немного коньяку. Если мне действительно предстоит что-то для тебя сделать сегодня ночью, то дело все равно будет уголовное.

Он протянул мне бутылку; я налил себе стакан и выпил, потом еще полстакана. Только теперь я почувствовал себя лучше. Я поставил бутылку обратно.

— Ты сегодня что-нибудь ел? — спросил он.

— Нет.

— Съешь по дороге.

— Разве я куда-то еду?

— Едешь.

— С тобой?

— Один. И еще с тем, который будет ехать за тобой.

Я рассмеялся:

— И который не доедет, это ты хотел сказать?

— Угм, — подтвердил он. — Только в ад, если он в него верит. Впрочем, это не обязательно. Достаточно, если он повалится неделю-другую в больнице. — Он помолчал. — Но разве можно знать заранее? Если бы можно было знать заранее, чем кончится авария, полиция была бы куда умнее. Может, вообще не было бы аварий...

— Мда... Но тогда мне нечего было бы делать сегодня ночью, верно?

— Ты мог бы стоять под дождем...

Я протянул руку и налил себе еще немного коньяку. Не знаю почему, но, когда я смотрел на его тяжелое и неподвижное лицо, на душе у меня становилось спокойно. Я вдруг вспомнил о Роберте, который уже час как стоит в холле и просит Гарри дать ему ключ, а Гарри даже не смотрит на него. Гарри, наверно, сидит, положив ноги на стол и тупо глядя в пространство. Все потому, что он читал слишком много детективов и смотрел слишком много ковбойских фильмов, где все герои часами сидят, положив ноги на стол и тупо глядя в пространство. И еще потому, что Гарри был подонком. Все мы были подонками: и я, и Роберт, и Гарри, и те двое, что нас обчистили. Только этот человек, который сидел передо мной и раскладывал пасьянс, имел деньги, и поэтому ему не нужно было быть подонком. Для грязной работы он имел меня и еще много таких, как я.

— Если мне предстоит ехать сегодня ночью, то пора начинать, — сказал я. — Уже вечер.

— Завтра в Иерусалиме аукцион, — медленно начал он. — Будут продавать две неплохие машины. И я хочу их купить.

— Для этого ты должен съездить в Иерусалим.

Да, но вся беда в том, что я там окажусь не один. Этот тип тоже приедет, и он будет повышать цену. А я не могу с ним тягаться. Это редкий случай. Владелец прогорел, и все его хозяйство идет с молотка. Я мог бы купить эти машины по дешевке.

— И что же я должен сделать?

— Этот человек отправится туда сегодня ночью. У него новая машина, двигатель еще не притерся, и он поедет ночью, когда дорога будет пуста и не нужно будет перегружать двигатель. И еще он очень плохой водитель. Ты его обгонишь, и он поедет за тобой. Так обычно делается. Это называется "тянуться на веревочке". Когда ты тормозишь, он видит твой красный свет и тоже тормозит. Так что он всю дорогу едет без всяких забот, одно удовольствие. Я сам когда-то так ездил. Да и ты, наверно, тоже?

— Угм. Случалось. Но почему ты решил, что я соглашусь? Он снова глянул на меня.

— Ты помнишь, чем я занимался до того, как затеял эту фирму по перевозкам?

— Помню. Ты служил в полиции. Оттуда тебя вышвырнули. За взятки. Именно поэтому ты смог организовать эту фирму.

— Именно поэтому. Ты прав. А что такое "подставлять бампер", ты тоже помнишь?

— Я бы предпочел этого не помнить.

— Почему ты говоришь, что предпочел бы этого не помнить? Если бы ты этого не помнил, ты бы ко мне сегодня не пришел. У тебя есть сигареты?

— Нет. Я выкурил последнюю по дороге.

— Будь добр, спустись вниз и купи. Маколет на углу еще открыт. Потом рассчитаемся.

Я не пошевельнулся. Я отвернулся от него и посмотрел в окно: дождь лил безостановочно, и я знал, что теперь он зарядил недели на две, не меньше. Но через месяц можно будет перебраться в Эйлат; а недель через шесть можно будет перебраться в Тверию. Я вспомнил о том типе, под которого подкладывалась девушка из автобуса, и о моей невесте из Тверии, и я подумал, что теперь им самый раз приехать сюда, в Тель-Авив. Только ведь они и здесь все равно будут потеть.

— Так ты идешь за сигаретами? — спросил Айзик.

— Айзик, — сказал я. — Достаточно того, что сегодня я сделаю за тебя грязное дело. Ведь за это ты мне заплатишь. Но зачем ты мне плюешь в душу?

— Ты спрашивал, почему я думаю, что ты согласишься? А еще раньше ты напомнил мне, что я служил в полиции. Так я тебе отвечу, как полицейский. Представь себе, что ты стоишь в зале суда и все на тебя смотрят, а я произношу вслух твое имя. Возраст — тридцать два. Первое ограбление совершил в возрасте пятнадцати лет, но не был пойман. После этого совершил еще двадцать семь ограблений со взломом и все это на протяжении одного года; не так уж плохо для парня пятнадцати лет отроду. Потом вместе с приятелем совершил налет на вокзал во Вроцлаве. Там был пойман.

Потом получил срок в Германии за бродяжничество и пьянство, в Швейцарии за бродяжничество и пьянство, в Израиле за издевательство над проституткой, в Сицилии за незаконное ношение огнестрельного оружия. Потом долгое время был сутенером, пока твоя девка не выскочила из окна шестого этажа. С того времени стал на праведный путь и зарабатывал как брачный аферист. Рост — метр восемьдесят, вес — восемьдесят, глаза зеленые, волосы светлые, тип лица овальный, особые приметы — шрам на левом виске. Эти данные облегчают тебе твой заработок. — Он помолчал. — Господи, вот что значит потерять форму! Я забыл добавить, что, будучи экскурсоводом в нашей милой далекой Польше, ты еще подрабатывал контрабандой. Ведь ты работал на чешской границе, верно?

— Ты еще кое-что забыл, — сказал я. — Ты забыл добавить, что я подрабатывал контрабандой и здесь, в нашем милом и любимом Израиле. На самых разных границах. Ведь у нашего милого и любимого Израиля так много соседей. Но не в этом дело. Дело в том, что я работал на тебя.

— Неужели ты настолько глуп, что хочешь меня шантажировать?

— Если уж на то пошло...

— Да, ты, пожалуй, прав. Но ведь я же тебе сказал: я вышел из формы. Я все забыл. Впрочем, я никогда не был образцовым полицейским. Я всегда считал, что в нашей работе воображение важнее, чем стандартные методы. Из-за этого я и поспорил с начальством.

— Ну, скажем, не только из-за этого. Им не хватило воображения представить, что полицейский тоже может время от времени...

Он прервал меня на полуслове:

— Ты повторяешься. Теперь ты заговоришь насчет моей фирмы...

— Кто этот человек?

— Какой человек?

— Тот, который будет в Иерусалиме.

— Слушай, почему мы с тобой никак не можем понять

друг друга? Речь идет как раз о том, чтобы его не было в Иерусалиме.

— Ты не дал мне кончить. Ты имеешь что-нибудь против иерусалимской городской больницы?

— Фишбеин.

— Это тот, у которого самосвалы?

— Тот, что работал на строительстве стадиона.

— Я его знаю, — сказал я. — В какой машине он поедет?

— В зеленом "Шевроле".

— Номер?

Он назвал номер и спросил:

— Он тебя знает?

— Нет.

Он усмехнулся.

— Ты не умеешь лгать.

— Я не солгал, — ответил я. — Однажды я пришел к нему и попросил у него работу. Я был голоден. Я еще не был тогда альфонсом. Мне сказали, чтобы я пошел к нему и он даст мне работу. Он не дал мне работы. Он даже не посмотрел на меня.

— Та-ак... — протянул он. — Ну, что ж, извини. Ты не солгал. Таких действительно не запоминают.

— Какую машину ты мне дашь?

— "Додж". Полторы тонны.

— Он слишком легкий. Дай мне тот ДМЦ, открытый.

— Это слишком медленная машина. Он захочет тебя обогнать.

— Ничего, не обгонит. За это ведь ты мне платишь. И вообще, перестань беспокоиться. Я три года ездил на такой машине в горах.

— В те времена, когда зарабатывал контрабандой?

— Да, в те времена, когда ты брал у контрабандистов взятки. Мы уже говорили об этом.

— Как ты собираешься все это устроить?

— Прежде всего я собираюсь еще выпить...

— Слушай, тебе предстоит вести машину...

— Ничего. Я не так-то легко напиваюсь. Дай мне еще пол-

стакана и метр шнура. Обыкновенного шнура от настольной лампы.

Он налил мне немного коньяка, потом вырвал из стоявшей на столе лампы шнур и протянул его мне.

— Как это я раньше до этого не додумался? — восхищенно сказал он. — Знаешь, труднее всего додуматься до самых простых вещей.

— Вот именно, — подтвердил я, ставя стакан на стол. — К тому же, ты ведь теперь вступил на праведный путь.

— Кто тебя этому научил?

— Мы однажды спровадили таким образом на тот свет одну партийную сволочь. Это было, когда я работал в горах. Он нас выслеживал. Ну, потом, конечно, примчалась комиссия экспертов из дорожной инспекции, политическая полиция, и обычная полиция, и еще комиссия профсоюзов, и все пришли к одинаковому выводу: погиб в результате собственной неосторожности. Но самое смешное, что это была абсолютная правда. Для сыщика он был действительно очень неосторожен.

— Хочешь поесть?

— Я схожу в кухню, сделаю себе яичницу. Время еще есть. Где у тебя гаечный ключ?

— В машине.

Я прошел на кухню и стал готовить себе яичницу, предварительно выложив на сковородку целую банку тушенки. И тут я снова вспомнил о Роберте, который все еще стоит рядом с Гарри. Он стоит, потому что ему некуда сесть; Гарри достаточно расчетлив, чтобы не ставить рядом с собой еще одно кресло, потому что многие ухитряются проспать в кресле до самого утра и при этом им снятся те же самые сны, которые снятся людям, спящим под одеялом, в тишине и покое. Но я подумал, что Роберт все-таки сможет время от времени посидеть; он сможет посидеть в кресле самого Гарри, потому что Гарри пьет слишком много пива и часто ходит отливать, и тогда Роберт сможет минутку передохнуть; он сможет даже вздремнуть, пока Гарри не вернется и не вышибет из-под него кресло ударом ноги; и это было самое забавное, потому что Гарри был тщедушный и малень-

кий, а Роберт грузный и тяжелый; но Гарри всегда удавалось вышибить из-под него кресло. Роберт сможет всю ночь простоять у конторки и смотреть, как Гарри читает своего Майка Хаммера, но ему нельзя будет сесть на пол. Гарри никого не выгонял под дождь, но никому не позволял садиться на пол; невелик, конечно, выбор, но все-таки выбор, и Гарри весь, с потрохами, был виден в том, что он не позволял никому садиться на пол. Неторопливо расправляясь с тушенкой, я подумал, что несправедливо обрзал Гарри подонком. Несправедливо обзывать человека подонком, если он позволяет другому человеку провести ночь под крышей, пусть даже стоя, когда на улице льет проливной дождь. Правда, прежний портье был лучше; когда было совсем уже худо с деньгами, он позволял спать в сральне; но он умер от инфаркта; он был педерастом, а я полосовал себе лицо бритвой, если он отказывался мне одолжить деньги, и только потом, когда он умер, я понял, что он был ко мне неравнодушен. До меня всегда слишком поздно все доходит. А теперь я часто вспоминаю о нем.

Я доел яичницу, вымыл сковородку и вернулся в комнату. Бутылка была уже пуста, а он по-прежнему сидел над пасьянсом.

— Ну, что у тебя вышло? — спросил я.

— Смерть.

— Об этом не было речи. Мы говорили, что он должен немного полежать в больнице.

— Ничем не могу помочь. Карты...

— Ладно, брось карты. Пора ехать в гараж. Кстати, зачем я еду в Иерусалим? Вдруг меня спросят?

— Я отослал туда три двигателя на капитальный ремонт. В мастерской знают, я с ними уже много лет работаю.

— Твой джип внизу?

— Угм...

Мы спустились вниз, и я сел за руль. Ехать было тяжело: дождь заливал стекла, а дворники работали слишком лениво. Впрочем, это не имело значения: я знал иерусалимскую дорогу — в это время она будет пуста. В Израиле запрещается ездить быстрее девяноста, а тот тип, который будет та-

щиться за мной, не потянет и этого; он был никудышным водителем, а все никудышные водители, которые, разумеется, всегда считают себя классными водителями, первые три-четыре тысячи километров ездят еще медленнее того, что им сказали при продаже машины или после ремонта двигателя. Проезжая через площадь, где обычно собирались наркоманы, я снова их увидел, и их по-прежнему было четверо; им недоставало только еще одного человека и еще одной лиры; но этот пятый человек так и не пришел.

— Теперь я вспомнил... — сказал я Айзику.

— О чем?

— Я вспомнил, что этот тип ел, когда я пришел к нему просить работу. Он ел жареную печенку с луком, а на столе лежала холодная курица. И он даже не повернулся ко мне; он жевал печенку, и пасть у него была забита жратвой, и он сказал мне, не поворачиваясь, чтобы я шел вон.

— Может, у него действительно не было работы?

— Но почему он не повернулся?

— Может, у него в тот день побывало уже много таких, как ты, — предположил Айзик. — И, может, ему приходилось всем отвечать одно и то же?

— Все равно, он должен был повернуться. Он по сей день не знает, как я выгляжу. Может, если бы он повернулся, все было бы иначе.

— Зачем об этом вспоминать?

— Я и не вспоминал, уже много лет. А вот сегодня, когда мы начали о нем говорить, я вдруг вспомнил, что он тогда ел. Понятия не имею почему. Слушай, сколько я за это дело получу?

Он повернулся ко мне:

— Сколько бы ты за него дал?

— Не знаю. Я так и не видел его лица. Ничего бы я за него не дал.

— Может, от него тоже кто-нибудь когда-то отвернулся, когда ему нужна была помощь, — задумчиво сказал Айзик. — А еще раньше от этого кого-то отвернулся еще кто-нибудь. И так оно было всегда и со всеми.

— Если бы это было не так, не было бы сегодня ни тебя, ни меня, — сказал я. — Сколько ты мне заплатишь?

— Скажи, сколько ты хочешь?

— Не знаю. Я же тебе сказал: я так и не видел его лица. Я видел только, что он ел. Жареная печенка с луком и холодная курица. И еще я помню, что за курицу он еще не принимался. Он жрал печенку и просто сказал мне, чтобы я шел вон.

— Ладно, — сказал Айзик. — Сколько стоит холодная курица?

— Четыре фунта, Айзик.

— На каком километре ты его прикончишь?

— Не знаю. Смотря, как получится. Я поеду медленно, а когда выйду вперед, дам газ, чтобы потянуть его на веревочке.

— Хорошо, — сказал Айзик. — Я дам тебе по курице за каждый километр. Если ты прикончишь его на пятидесятом километре, получишь двести фунтов. Годится?

— Годится. Только я хотел бы увидеть его лицо. Это возможно?

— Зачем тебе это?

— Я же тебе сказал: он не повернулся тогда.

— Забудь об этом. Думай о том, что тебе предстоит трудная дорога. И еще этот сволочной дождь.

— Айзик, — спросил я, — а что стало бы с твоими грузовиками, если бы я не пришел к тебе сегодня?

— Завтра они все равно были бы мои, — ответил он. — Именно потому, что все от всех отворачиваются. Пока люди этого не поймут, всегда будет полно таких, как ты.

— И таких, как ты, капитан, — сказал я.

Его машины стояли под открытым небом, а дождь не утихал ни на минуту. Мне пришлось взять электрическую лампу и подключить ее к розетке. Потом я пошел с лампой к машине и думал при этом, что если сейчас произойдет короткое замыкание, то все мои заботы кончатся раз и навсегда. Я открыл капот; в сущности, мне не нужна была и лампа, этот тип двигателя я знал так хорошо, что лучше бы я его совсем не знал; я отсоединил кабель от контакта

тормозной помпы, обмотал его концы изоляционной лентой, а к помпе подсоединил тот шнур, который мы взяли с собой; потом я опустил капот и протаскил шнур под приборной панелью. Держа в руке его разъединенные концы, я сказал Айзику:

— Теперь отойди подальше...

Я слышал, как он тяжело шлепает по лужам; он был грузным мужчиной. Я никогда не мог понять, откуда в этой стране столько грузных мужчин.

— Готово, — сказал он издали.

Я соединил концы шнура, и зеленая искра сухо треснула между пальцами.

— Горит красный? — спросил я.

— Да. Попробуй, на всякий случай, еще раз.

Я снова соединил концы шнура и подумал, что станет с тем, который так и не узнает, что в последнюю минуту я тормозну, но не соединю концы шнура; и еще меня мучило, что я так и не увижу его лица.

— Горит?

— Порядок, — сказал Айзик. Он подошел и сел рядом со мной. — Может, ты подключишь пока кабель обратно, а за городом сделаешь так, как сейчас? Я дам тебе фонарь.

— Это ни к чему. Я сумею тормозить и одновременно сжимать концы рукой. Гони лучше задаток.

— На котором километре, ты сказал, ты забудешь соединить концы?

— Понятия не имею. Может, на пятидесятом. Потом посчитаем, по счетчику.

— Я не дам тебе задатка, — сказал он.

Я повернулся и посмотрел на него, но никак не мог разглядеть его лица: в машине было темно, а снаружи по-прежнему лил дождь.

— Почему так? — осторожно спросил я.

— Я дам тебе всю сумму, — медленно ответил он. — Я знаю, что ты меня не обманешь. А теперь выезжай на иерусалимское шоссе и не забудь его номер. И помни, что завтра я должен быть в Иерусалиме один. Это ты должен помнить всю дорогу.

— Я помню даже то, что я должен забыть, — сказал я, пряча деньги в карман. — Не желай мне доброго пути. Я суеверен.

Он уже повернулся, когда я его снова окликнул. Он остановился, но не подошел. Я видел, как дождь стекает по его волосам и одежде; и те деньги, что он мне дал, тоже были мокрые.

— Я знаю, о чем ты хочешь спросить, — сказал он издали. — У него самое обыкновенное лицо.

— Ты хотел сказать: у него было самое обыкновенное лицо, — поправил я, выжал сцепление и, обогнав его, выехал на перекресток. Я вел машину медленно, не забывая при каждом торможении сжимать пальцами концы шнура. На выезде из города я увидел кафе; я остановил машину и вошел под навес.

— Дай мне кофе, — сказал я официанту. — Мне предстоит дальняя дорога. Можно у вас купить курицу?

Он не пошевелился. Я слегка устал после бессонной ночи и двух стаканов, выпитых у Айзика, и поэтому я не сразу понял, почему он стоит как вкопанный, с выражением оскорбленной гордости на лице. Уже много лет все они так меня встречали; и все равно до меня не сразу доходило. Мы немного постояли молча; потом я полез в карман и достал из бумажника десять фунтов.

— Сделай кофе крепче, — сказал я. — А курицу заверни в целлофан.

— Жареная курица или печеная? — спросил он.

Я не сразу ответил, потому что я никак не мог припомнить. Это было столько лет назад, и я тогда столько дней ничего не ел. И это был очень жаркий день, а я не хотел одеть рубашку с короткими рукавами, потому что боялся, что он увидит мои худые руки и скажет, что у него нет для меня работы. Помню, что я уже был на полпути, а потом вернулся и одолжил рубашку у приятеля, который был на голову ниже меня; и рукава рубашки, даже когда я их опустил, все равно не скрывали худобы моих рук. И только тогда я пошел к нему, а он даже не посмотрел на меня, так что вышло, что я напрасно одалживал эту рубашку. И тут я вспомнил, что это была жареная курица; этот человек был очень тол-

стый, а тот полдень медленно плавился на тридцатипятиградусной жаре, и Бог не послал в тот день даже крохотного ветерка, так что он наверняка ел жареную курицу, потому что жареная курица намного легче идет в жару, чем печеная. Конечно, если у тебя есть деньги на курицу. Но он к ней даже не прикоснулся; он обожрался, и ему было жарко, и Бог, как я уже сказал, не послал в тот день ветра.

— Жареная, — сказал я. — И заверни ее в целлофан.

Потом я вышел; и, проехав еще тридцать километров, я увидел его машину и прибавил газу. Я делал восемьдесят в час и тормозил на поворотах, всякий раз предупреждая его серией красных огней, пока он, в конце концов, не преисполнился ко мне доверия и потянулся на веревочке, повторяя все, что я делал. Держа пальцами концы шнура, я выехал на поворот и затормозил, положив скрещенные руки на баранку, но это оказалось излишним: удар был совсем не такой сильный, как я ожидал. Моя машина весила четыре восьмьсот, и его "Шевроле" отлетел от моего заднего бампера, как мячик. Я смотрел, как он катится, переворачиваясь, вниз по склону, и подумал, что теперь я смогу выйти и наконец-то разглядеть его лицо. Но мне было лень спускаться; я бросил ему вслед завернутую в целлофан курицу, за которую час назад заплатил четыре фунта, и громко сказал:

— Сегодня не так жарко. Можешь смело ее сожрать, ничего тебе не станется.

А потом мне пришлось проехать еще пару десятков километров до ближайшей бензоколонки, потому что дорога была слишком узкая, чтобы развернуть на ней военный грузовик марки "Дженерал Моторс", и там я вызвал "Скорую помощь", а немного погодя я позвонил в больницу, с той же бензоколонки, и мне сказали, что нет оснований для беспокойства. У него переломан позвоночник, и ему придется до конца жизни носить корсет, чтобы поворачивать голову.

— Это для него важнее всего на свете, — сказал я сестре, с которой меня соединили.

— Простите? — переспросила она.

— Кто-то когда-то от тебя отвернулся, и поэтому ты не можешь этого понять, — сказал я. — А еще раньше от того

отвернулся кто-то другой. А от того другого еще кто-то. Теперь понимаешь?

— Нет, — ответила она.

— Я тоже. Я тебя никогда в жизни не увижу, но желаю тебе, чтобы ты никогда не должна была этого понимать, — сказал я и, положив трубку, сел в машину и поехал назад в Тель-Авив.

Я поставил машину на место, отключил шнур от контактов помпы и снова подсоединил к ним кабель тормозного сигнала. Потом я свернул шнур, сунул его в карман и пошел в гостиницу. Кафе на углу улицы Гесс все еще было открыто; я вошел туда и купил себе три гамбургера и две бутылки пива, а потом поднялся по лестнице в холл. И все было так, как я себе представлял; Гарри сидел, развалившись в кресле, и читал Майка Хаммера, и я не смог устоять перед искушением и заглянул ему через плечо, чтобы увидеть обложку.

— Это о том, как Майк вытолкнул эту девку на крыло самолета? — спросил я.

— Угм, — пробормотал Гарри, не отрываясь от книжки.

— Ты же это уже читал...

Он не ответил. Роберт стоял под стеной, но не это меня удивило: рядом с Гарри сидел за столом какой-то мужчина и пил "Сток-84"— тот самый коньяк, который мы пили всегда.

— Я забыл сказать тебе "доброй вечер!", Гарри, — сказал я. — Исправляю свою оплошность.

Он и на этот раз не ответил. Я вышиб кресло из-под его зада, и он шлепнулся на пол, а книжка упала рядом с ним. Я поднял ее и подал ему.

— Добрый вечер, Гарри, — сказал я.

— Ты что, при деньгах?

— Дай мне комнату на двоих, — сказал я. — Положить тебе деньги на стол или на пол, около тебя?

— Положи на стол, — ответил он, и тогда я помог ему подняться. Он протянул мне ключ.

— Я бы должен был тебя вышвырнуть, — буркнул он.

— Совершенно верно. Но, во-первых, этот фокус с креслом я перенял у тебя, а во-вторых, хозяин гостиницы сейчас в Америке и ты сможешь эти деньги прикарманить себе. — Я уже поднимался по лестнице, но снова остановился:

— Ты начинаешь делать исключения, Гарри, — заметил я.

— Не делаю я никаких исключений. Все платят вперед.

— Я не о том. Я имел в виду человека, который сидит рядом с тобой и пьет. Почему ты не позволил сесть Роберту?

— Этот человек снял номер. Он принес оттуда кресло и спросил, можно ли ему посидеть возле меня. Ему не спится по ночам. Это миссионер.

— Странно, что ему не спится, — сказал я. — Уж у него-то совесть должна быть чиста. Говорят, что для нормального сна это самое главное.

— Если бы это было так, ты бы глаз не сомкнул до конца своей жизни, — сказал Гарри.

— Я только повторяю, что другие говорят. Он понимает иврит?

— Только английский.

— Скажи ему, пусть сходит поблядовать. Может, после этого ему удастся заснуть.

— Он с женой, — ответил Гарри. — Потому-то он сидит возле меня и пьет. Он не хочет ей мешать.

Мы поднялись наверх; Роберт рухнул на кровать, а я вытащил из кармана гамбургеры и положил их на свой ночной столик. Потом я открыл бутылку пива и стал смотреть в окно на человека, который продавал жареное мясо, но дождь был слишком сильный и мешал мне разглядеть его лицо, — я видел только его белую шапочку и огонь, который освещал его снизу.

— Что ты ешь? — спросил Роберт.

— Гамбургеры, — ответил я.

— Хорошая жратва.

— Кому что нравится. Гамбургер — хорошая штука, когда у тебя всего пара минут, чтобы пожрать и лететь дальше.

— Я три дня ничего не ел, — пожаловался Роберт.

— В таких случаях нужно лежать совершенно спокойно и стараться не делать лишних движений, — посоветовал я. —

Тогда ты не будешь терять калорий. Если ты захочешь когда-нибудь крутить картину с Президентом Зискиндом и в этой картине речь будет о людях, которые сидят в тюрьме, ради Бога, не вздумай заставлять их бегать по камере и рассуждать о жизни и смерти! Не делай этой ошибки, прошу тебя! В тюрьме нужно как можно больше лежать. При каждом движении ты теряешь калории. Кому-кому, а тебе бы следовало это знать. Ведь ты у нас художественный консультант господина Президента Зискинда, не так ли? Ты просто лежи спокойно и старайся заснуть. Во сне люди не чувствуют голода.

— Но я никогда не могу заснуть, если я голоден!

— Представь себе, я тоже. Какое удивительное совпадение!

— Но ты же не будешь голоден сегодня!

— Ты прав. Но что тебе с того? Разве ты будешь сыт, если я скажу тебе, что я нажрался доотвала?

Дождь приутих, и я увидел, что на противоположной стороне улицы какие-то типы схватились с негром. Я знал этого негра, — это был один из тех, что пару часов назад стояли около кино и ждали пятого. Наверно, пятый все-таки пришел и они выкурили этот свой гашиш.

— Странно, — пробормотал я.

— Что?

— Этот негр, Ибрагим, и пьет, и курит гашиш. А ведь говорят, что алкоголики никогда не становятся наркоманами.

— Я три дня ничего не жрал! — завопил Роберт.

— Не думай об этом! — посоветовал я, медленно прожевывая второй гамбургер и запивая его пивом из бутылки. — Я однажды не ел одиннадцать дней. А потом я присмотрел одного такого жирного туриста, из Америки, который вечно таскался в ночной клуб на Аякон, чтобы потанцевать там с девками, и подстерег его, когда он возвращался под мухой к себе в отель. Я его ударил, но у меня не было сил от голода, и, когда он меня толкнул, я упал и уже не мог подняться. И тогда он наклонился надо мной и осветил мне лицо газовой зажигалкой. У тебя нет соли, Роберт?

— Нет. Зачем тебе соль?

— Этот гамбургер недосолен, — сказал я. — Знаешь, остав-

лю-ка я его на утро. Что-то аппетита нет, авось, до утра не засохнет.

— Я могу спуститься к Гарри, он даст соль.

— Нет. Ты должен лежать неподвижно. Я же тебе объяснял, — при каждом движении человек теряет калории. Сколько дней ты не ел?

— Три.

— Ну, это ерунда. Увидишь, что с тобой будет через неделю. У тебя начнутся галлюцинации, а потом поллюции. Правда, непонятно? Я расспрашивал многих врачей, почему у человека, который поддыхает от голода, начинает течь сперма, и никто не мог мне объяснить. Я думаю, это просто наше тело ведет себя с достоинством, — оно старается избавиться от всего, что положено оставить в этом мире.

Я прожевал второй гамбургер и снова хлебнул из бутылки. Те, на углу, держали негра за руки, а один из них бил его по лицу, и я видел, как Ибрагим, возвышаясь над тем, который его бил, извивается всем телом, но тот все равно каждый раз попадал ему по лицу, хоть и был легче и ниже ростом.

— Ну, вот, — сказал я. — Тот турист пошел себе дальше, а я побрел на пляж, чтобы немного поспать. Там был один чокнутый, который днем сторожил шезлонги и все лето там ночевал, я к нему ходил, и он позволял мне спать на шезлонге до утра. В тот раз я тоже к нему пришел, и он дал мне шезлонг, но меня почти сейчас же разбудили. Тот тип, на которого я напал на Аяркон, привел двух своих дружков, и они меня спросили, что я предпочитаю: пойти в полицию и сознаться в попытке ограбления или поехать с ними за город. Они, видишь ли, были в джипе.

Я подошел к окну и открыл его. Те, на углу, уже успокоились, а негр стоял, отвернувшись лицом к стене. Я часто видел, как он стоит по ночам, повернувшись лицом к стене и не шевелясь, но так и не знал, почему он так стоит.

— Зачем ты открыл окно? — спросил Роберт. — В комнате достаточно воздуха.

— Разве я тебе сказал, что хочу проветрить комнату?

— Зачем же тогда открывать окно?

— Потому что дождя уже нет, — сказал я, высовываясь через подоконник. — Может, мне удастся увидеть какую-нибудь собаку.

— Зачем тебе собака? Собака нам потребуется не раньше, чем через месяц, и то дай Бог!

— Мне очень нужна сейчас.

Я все так же стоял к нему спиной, глядя в темноту; но я видел только этого негра, который стоял, повернувшись лицом к стене, неподвижно, как дерево в глубокой долине, где не бывает ни ветерка, ни урагана. Ни одного пса на улице не было.

— Ни одной собаки, — сказал я. — Все спят. Я бы и сам заснул, если бы мог.

— Я тоже.

— Так спи. Погасить свет?

— Я все равно не засну. Я три дня не жрал.

— Да, насчет этой жратвы. Ты не дал мне закончить. Когда они приехали за мной на этом джипе и спросили, что я предпочитаю — прогулку с ними или прокурора, который предъявит мне обвинение в попытке ограбления, я сказал, что лучше я поеду с ними. Тогда они вывезли меня за город и привязали мне руки к бамперу, а один из них вытащил тряпку и сказал, что жирный, на которого я напал, сам со мной потолкует. Я заметил ему, что самосуд тоже карается законом. Тогда он мне сказал, что у них все это уже продумано и без моих замечаний и что они обделают это дело так, что никаких следов не останется. И они мне объяснили, что для этого нужно бить через мокрую тряпку. А я сказал, откуда же вы возьмете воду? И тогда они по очереди отлили на эту тряпку, замотали мне этой тряпкой морду, и тот, на которого я напал, целый час бил меня через эту тряпку. Но они были правы.

— Нет,— сказал Роберт. — Они были неправы. Они должны были тебя простить. Ведь ты же был голодный.

— Я не это имел в виду, когда сказал, что они были правы. Они мне обещали, что следов не будет, и следов не было. — Я перегнулся через подоконник и увидел собаку, которая бежала посреди улицы, поджав хвост. — Вот она!

— Кто?

— Собака.

— Слушай, ради Бога, зачем тебе собака? Неужели ты хочешь задаром убить собаку?!

Я повернулся к нему и показал ему гамбургер, который я держал в руке.

— Ты, наверно, свихнулся от голода. Ты же знаешь, что, когда я их убиваю, я потом несколько дней болен. Я уже полчаса жду собаку, чтобы бросить ей этот гамбургер. Я не в силах съесть подряд три гамбургера.

Я высунулся из окна, свистнул, и собака остановилась. Я бросил ей гамбургер; она понюхала его и, даже не приронувшись, побежала дальше. Я расхохотался:

— Я совсем забыл, что собаки не любят томатного сока. А я в него насовал целую бочку томатного сока. Без томатного сока гамбургер в рот нельзя взять. Спокойной ночи.

Я взял свои бутылки с пивом и пошел к двери. Я увидел, что Роберт натягивает штаны.

— Ничего не выйдет, — сказал я. — Я закрою дверь на ключ с той стороны. Я знаю, что ты собираешься сделать. Ничего, теперь ты, наверно, будешь ненавидеть собак еще больше. Она даже не лизнула этот гамбургер. Спи спокойно!

Я оттолкнул его, вышел, повернул ключ в замке и спустился по лестнице. Гарри уже спал; книжку он держал в руке, но это была уже другая книжка — о том, как Майк Хаммер всадил целую револьверную обойму в живот своей беременной любовницы; из всех историй о Майке Хаммере эта нравилась Гарри больше всего, и я никак не мог этого понять, потому что у него было пятеро детей, которых он очень любил. Тот человек, что сидел там раньше, сидел и теперь, только в бутылке, которая перед ним стояла, не осталось уже ничего.

— Хочешь пива? — спросил я его по-английски.

Он посмотрел на меня. Правильнее было бы сказать: он с заметным усилием поднял на меня глаза.

— Я только утром получу деньги.

— Я тебя не о том спрашиваю. Хочешь выпить пива?

— Спасибо.

— Как к тебе обращаются? Патер?

— Нет, — сказал он. — Меня зовут Син.

— Забавно, — сказал я. — Совсем как того фраера, который играет Джеймса Бонда. Все теперь на нем помешались. Один Гарри продолжает читать своего Майка Хаммера.

Я откупорил бутылку и протянул ему.

— Пей прямо из бутылки, — посоветовал я. — Оно еще холодное. У израильтян хорошее пиво. Но эти фильмы с Бондом никуда не годятся.

— Почему?

— Потому что там непрерывно взрываются автомашины. Чудак налетает на дерево и бац! — взрыв! Извини, я на минутку. Мне нужно позвонить.

Я подошел к телефону и набрал номер Айзика. Сначала были гудки, потом я услышал его голос.

— Ночью у меня нет знакомых, — сказал он. — Ночью я хочу спать.

— Я только хотел тебе сказать, что эти фильмы с Джеймсом Бондом никуда не годятся, — сказал я. — Я как раз сейчас разговаривал об этом с одним миссионером.

— Ты пьян, — сказал он, и я услышал, как он повесил трубку. Я дождал минуту и снова набрал его номер.

— Но это действительно очень плохие фильмы. Я тебе потому звоню, что ты, я помню, от них без ума. Понимаешь, там каждую минуту взрываются автомашины. Я очень сожалею, но в жизни это не так. Я сам сегодня видел машину, которая рухнула с высоты тридцати метров и даже не подумала взорваться.

Он молчал. Потом я услышал треск зажигаемой спички.

— А что случилось с тем человеком, который был в этой машине? — осторожно осведомился он.

— Он находится в самой лучшей иерусалимской больнице. А потом ему еще предстоит долгое время побыть в санатории, где его научат ходить и поворачивать голову к тому, с кем он разговаривает. Спокойной ночи!

Я положил трубку, и в этот момент Гарри проснулся:

— Шестьдесят агорот! — произнес он.

Я достал из кармана лиру и дал ему; он отсчитал мне сдачу и тут же снова заснул.

— Ты давно здесь? — повернулся я к миссионеру.

— Год.

— И долго еще собираешься пробыть?

— Месяц. Я жду корабля, чтобы вернуться в Канаду.

— Тебе не понравилось в Израиле?

— Не потому. Мне не удалось обратить ни единого человека. Мое начальство попросту отзывает меня. — Он глотнул пива и закончил:

— Как неспособного.

— Не огорчайся, — посоветовал я. — Здесь был сам Иисус Христос, и тот не так уж преуспел.

Какая-то женщина вошла в гостиницу и остановилась в дверях.

— Господи! — сказал я. — Опять ты здесь?

— Отверни лампу, — попросила она.

На столе у Гарри стояла лампа; я повернул ее так, чтобы свет падал на стену.

— Теперь хорошо? — спросил я.

Она подошла поближе, но остановилась в двух шагах от нас, и лицо ее осталось в тени.

— Кто это? — спросила она, показывая на миссионера, который сидел рядом со мной, держа бутылку в руке.

— Миссионер, — ответил я.

Она вынула из сумочки фотографию и протянула ее мне.

— Не бери пальцами за середину. Бери за край. Это мой единственный снимок. Покажи ему и объясни, что это я... Когда-то...

Я взял фотографию и показал ему.

— Это она... Когда-то... — сказал я. — Потом она попала в аварию. Ее зовут Луиза. Только ты лучше на нее не смотри. Я не настолько хорошо владею английским, чтобы описать тебе, как она выглядит сейчас. Впрочем, я бы не сумел это описать и на иврите. И на польском тоже. Лучше посмотри на этот снимок и скажи ей, что она была очень красивой.

— Потрясающе красивой! — пробормотал он.

Я отдал ей снимок.

— Почему ты не сделаешь себе несколько копий? — спросил я. — Рано или поздно этот снимок выцветет.

— А если фотограф его испортит?

— Если ты ему заплатишь, он не испортит. Сделай себе хотя бы дюжину копий.

— Я боюсь. А вдруг он зальет его кислотой. Это мой единственный снимок.

— Ну, вот, ты сама говоришь. А ты еще вдобавок пьешь. Что, если в один прекрасный день ты сама его потеряешь? Здесь на Бен-Иегуде есть хороший фотограф. Дай мне этот снимок, я схожу к нему и прослежу заодно, чтобы все было в порядке.

Она молчала, я смотрел в пол и старался не поднимать глаз. Я однажды видел ее при дневном свете и больше никогда не хотел увидеть. В данную минуту это были все мои желания.

— Я боюсь, — сказала она. — Я пойду спать. Ты не смог бы направить лампу на потолок, когда я буду подниматься по лестнице?

— Хорошо, Луиза, — сказал я. — Спокойной ночи.

Я повернул лампу к потолку, и она прошла мимо нас и поднялась по лестнице; потом я услышал, как она закрывает свою дверь, и теперь уже можно было поставить лампу нормально.

— Это была самая красивая девушка в городе, — сказал я. — И с ней произошла эта дурацкая история. А теперь у нее осталась всего одна фотография. И она всем ее показывает. Если пьяна, конечно.

— А если не пьяна?

— Тогда она не выходит из комнаты. Гарри приносит ей еду и ставит под дверь. У нее есть богатые родственники в Америке, они присылают ей чеки. — Я хлебнул из бутылки и спросил:

— И что же ты будешь делать у себя дома? Ведь там тебе некого будет обращать?

— Нет. Да ведь все равно никто в Него уже не верит. Все закрыли перед Ним двери и окна и уселись перед телевизорами. Голос диктора для них — это и есть голос Бога.

Он вдруг заснул — стремительно, как маленький ребенок: просто голова рухнула на стол, и только каким-то чудом я успел в последнюю минуту подхватить бутылку, которая выпала у него из рук. Гарри спал, и мне не хотелось его будить; я заглянул в список и увидел, что он живет в номере седьмом. Я хотел было его поднять, но не смог: он был тяжелый, а я не спал уже три ночи и за мной было сто пятьдесят километров под дождем. Или сто пятьдесят кур, смотря как считать.

Я постучал в дверь под номером семь. Мне открыла какая-то молодая женщина.

— Прошу прощения, — сказал я. — Скажите, тот священник, который дрыхнет в данный момент в холле, упившись в стельку, — это, случайно, не ваш муж?

— Да, — ответила она.

— Я хотел было сам его сюда доставить, — сказал я. — Не вышло. Он чересчур тяжелый, а я уже несколько ночей не спал.

— Разбуди портъе, — сказала она, отвернувшись. — Принесите его сюда и разденьте.

— Таким тоном ты мне будешь приказывать, когда у тебя на счету будет двести тысяч долларов, — сказал я. — Давай, пошевеливайся!

Я подтолкнул ее к двери, и она послушно пошла за мной. Мы взяли его под руки и втащили в номер. Я положил его на постель.

— Сними с него хотя бы ботинки, — сказал я.

— Еще чего! Он сам напросился сюда ехать и обращать этих евреев. Сначала его освистали в Хайфе, потом его освистали в Тель-Авиве, потом его освистали в Беер-Шеве. Есть тут еще хоть одно место, где бы его еще раз могли освистать?!

— Пожалуй, нет. Вообще-то его еще освистут. Но это уже будет в Канаде. Он не обратил ни одного?

— Нет. Он проехал страну из конца в конец и не обратил ни одного человека. А я сидела на всех его выступлениях и смотрела, как они над ним смеются. А теперь его отзывают. Наш корабль приходит через месяц.

— Сними с него хоть ботинки.

— Пошел он к черту!

Я расшнуровал его ботинки и расстегнул воротничок, — он даже не пошевелинулся. Он не пошевелился даже тогда, когда я приподнял его голову, чтобы подложить под нее подушку.

— Для священника он совсем неплохо заливает, — сказал я. — И давно он так?

— Уже несколько месяцев. После того как его очередной раз освистали. Есть тут какие-нибудь кафе, где можно посидеть до утра?

Я посмотрел на часы:

— Уже утро.

— Я не хочу с ним оставаться в одной комнате. Я ему сказала, чтобы он не смел приходить пьяный.

— Извини, это я виноват. Он спал в холле, положив голову на стол. Я подумал, что это совсем не то, что следует о нем знать его церковному начальству.

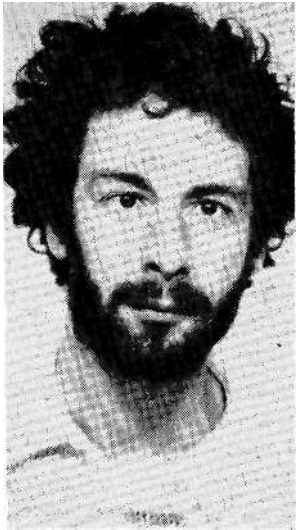
— Они знают о нем самое главное. Он не спас ни одной души.

— Положим, — возразил я. — Он спас свою собственную. Он убедился, что есть еще люди, которые не хотят отступать от своего Бога. А ведь для него это самое важное. Спокойной ночи.

Я прикрыл дверь и пошел по лестнице наверх. Уже засыпая, я представил себе, как он уговаривает людей, родившихся в Палестине, отступить от их Бога; и представил себе, что чувствует его жена — она, должно быть, сидит в первом ряду и каждый вечер слушает, как его высмеивают и освистывают; и с этой мыслью я заснул.

Окончание в следующем номере.

Перевел с польского Р. Нудельман



Лев МЕЛАМИД

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ НИКИТЫ ХРЯЦА

1. БОЛЬНИЦА

Суровая зима 1968 года почти не оставила следа в его воспаленном мозгу. Врачи говорили, что он идет на поправку и скоро можно будет выписываться.

"Суровей зимы еще не бывало", — все время повторял он, и главный врач отделения не уставал его поправлять: "Не суровей, а суровей".

Это "суровей" служило источником бесконечных дебатов среди врачей отделения и отдаляло время выписки. Одни — возглавляемые заместительницей главврача — утверждали, что он уже здоров и речевые изменения связаны с последствиями интенсивного лечения. Другие считали, что неверное ударение свидетельствует о продолжающейся болезни. Почти каждый день его демонстрировали разным комиссиям. И каждый раз кто-нибудь из членов комиссии обязательно спрашивал его: "Как вы считаете, зима в этом году была суровая?" И он неизменно отвечал: "Суровей не припомню". Соседи

по палате толковывали ему: "Да скажи ты им так, как они хотят, мать их в лоб!" А он только качал головой.

А пока он безмятежно расхаживал по больнице (ходить по больнице ему уже давно разрешили) и вопрошал: "Пусть я неполноценный человек, так ведь нормальный же? Почему же меня взяли сюда? Решили, что у меня воспаление мозга. И все из-за того, что я не могу жить в этом проклятом холоде, в этой дикой стране, населенной идиотами, которым доставляет удовольствие полярная стужа. А я хочу в Париж, где зимой тепло, где под ногами скворчит нежная слякоть, чуть тронутая ледком. Так почему же я должен зябнуть тут?"

В больнице ему было хорошо. Хорошо, потому что тепло. И, что бы он ни говорил об учиненной по отношению к нему несправедливости, — все это была сплошная неправда. Даже весной, когда земля растеклась его любимой слякотью, ему хотелось лишь прогуляться по московским улицам, а потом — вернуться обратно в больничный теплый уют. Но прогуляться по улицам ему не разрешали, и оттого он сердился и нервничал.

Нет жизни патриархальной, чем жизнь в сумасшедшем доме. Сначала — завтрак, когда к столу можно выйти в роскошном мягком халате, надетом прямо на голое тело. Потом — свободное время; можно поваляться на постели и поболтать с соседом, детально обсудить с ним предстоящий день. Обход врача — приятные стариковские заботы о своем здоровье. Прогулки по саду, обнесенному со всех сторон громадным каменным забором. События дня, будто увиденные в микроскоп, — сломанная скамейка в саду, новая медсестра, дождь — происшествия, исключительные по своей важности для обитателя психбольницы. Обед, с приличествующим семейной трапезе ритуалом. После обеда — мертвый час. А потом — все заново, то же самое, до отхода ко сну в десять часов вечера. Два дня вместо одного: один до полудня и один — после.

Как-то из тюрьмы напротив бежал человек — спрыгнул на улицу из окна третьего этажа. Многие из палаты экспертов видели побег, потом рассказывали другим — это было событие почище убийства Кеннеди. Такие случаи запоми-

наются на всю жизнь. В другой раз один больной рассказывал о том, как его лечили от сифилиса. Слушать его было потрясающе интересно — на грани острого переживания. К вечеру жизнь казалась ему наполненной до краев. Он был почти счастлив.

Вскоре он пришел к выводу, что нормальному человеку не может не нравиться в сумасшедшем доме. Плохо в сумасшедшем доме только настоящим психам — они-то и распускают слухи об ужасах Белых Столбов. Сам он угодил в Матросскую Тишину, в палату экспертов — тех самых нормальных людей, которым в больнице все нравится. О себе же он говорил в минуты откровения: "Я, видимо, не совсем нормален, если меня все-таки тянет наружу за эти прекрасные, толстые стены. Мне хочется туда, как русскому хочется на Запад, — погулять, посмотреть и вернуться назад, потому что здесь у нас и дом родной, и друзья, и воздух московский".

2. ПОЕЗД

"Привези из Питера перламутровую помаду". В двадцать три пятьдесят главный врач отделения психбольницы "Матросская Тишина" Никита Хрящ отбыл из Москвы в Ленинград.

Он лежал на верхней полке купированного вагона и глядел в окно. Рядом с ним и под ним спали командировочные полковники — три полковника сразу. Не храпели, не посапывали — спали тихо, словно хищные звери, которых увозят от родного леса в железной клетке. Чуткие к любому шороху, недоверчивые, гордые своим немалым чином, скучающие во сне без коньяку и девочек.

Уже подъезжая к Клину, он успокоился. Утихло раздражение, вызванное прощальным поцелуем жены. За окном мелькали черные провалы начинающего таять снега — зияющие дыры среди белого покрова. Для него не было лучше отдыха, чем в пути: в поезде, в самолете, на пароходе. Только в дороге он ощущал себя независимым и свободным, мог по-

думать о том, на что в обычной жизни вечно недостает времени. Представить себя таким, каким хочется себя видеть. Быть самодовольным, грустным, веселым, усталым; позавтракать в ресторане, как положено уважаемому человеку; пофлиртовать, если есть с кем. Словом — быть самим собой.

А еще очень приятно выйти из поезда в чужом городе: в элегантном костюме, с одним портфелем в руках ступить на перрон, оглядеться вокруг, как бы высматривая встречающих, потом не торопясь закурить и двинуться вдоль поезда.

На этом, к сожалению, отдых кончается. Начинаются дела, ради которых ты приехал. "Я еду за перламутровой помадой, — засыпая, думал он, — а еще я погуляю по Ленинграду". Его всегда тянуло в Ленинград, хотя он и не любил серой прямизны и мрачности ленинградских улиц. Однажды ему как будто удалось понять глубинную причину этой нелюбви.

Года три назад он прибыл в Ленинград ранним утром и шатался по городу, ожидая, пока откроются кинотеатры. Где-то в сквере он присел на скамейку, задумался. Из оцепенения его вывел голос человека, неизвестно когда примостившегося рядом: "Скажите, дорогой друг, что хорошего есть в вашей жизни?" "Москва и смерть", — ответил он. "А любовь?" — "Что вас именно интересует — процесс познания или непосредственная близость, возникающая в результате любви?" — "Молодой человек, не острите и не распускайте слюни, когда говорите о половом акте. Если вас интересует девушка, могу вам устроить это хоть сейчас. Я же спрашиваю вас: что хорошего в жизни?" — "Простите, но я уже ответил — Москва и смерть".

Он прекрасно запомнил весь этот разговор, пустой сквер, сырую скамейку, неожиданного собеседника — лысеющего, интеллигентного алкоголика, какого можно встретить, пожалуй, только в Ленинграде. Запомнил и свое тогдашнее настроение — он готов был распахнуть душу любому, лишь бы на вид был не противный. Они сидели возле Казанского собора, одного из самых мрачных зданий Ленинграда, на

самой мрачной из ленинградских улиц — Невском проспекте. Человек, сидевший рядом, сказал: "Москва и смерть? Хорошо, пусть так. Давайте знакомиться. Меня зовут Петр Гоголь".

"А меня — Иван Пушкин, — подумал он и ответил, — Никита Хрящ".

"Ленинград вам, конечно, не нравится?"

"Не нравится".

"Я так и думал. Не спрашиваю почему, — наверняка не сможете объяснить. Вы любите ездить в Петербург, бродить по его улицам, смотреть на его людей, — и все это вам не по душе. Вы говорите, что каждый отдельный петербургский дом прекрасен, но все они вместе производят гнетущее впечатление тяжести, мрачности и уродства. Ленинград кажется вам мертвым городом, хотя вы стремитесь сюда, чтобы опомниться вдаль от московской суеты, побыть немного среди спокойных, уравновешенных людей. Вы любите Россию, тоскуете по ней, старая Москва притягивает вас, ее опустевшие переулки — Власьевский, Гагаринский, Полуэктовский, Староконюшенный, Еропкинский, Медвежий, Скатертный... Там все осталось как прежде — только люди вымерли. Но люди вас не интересуют, вас восхищает мертвый, покинутый город. На фоне безликой, спятившей Москвы агония старого Арбата кажется трогательной, внушающей мирную жалость. Но можно ли жалеть труп, любить мертвечину? Скоро сгинут в небытие московские переулки, как сгнули Молчановка, Собачья площадка и Страстной монастырь. А Ленинград еще живет, молодой человек, простите, Никита, живет и будет пока жить. Ленинград — это единственный город, где сохранились традиции великой России. За этим вы сюда и едете. Но, видя, как слабы, как извращены эти великие традиции, вы нервничаете и злитесь. Вот чем плох для вас Петербург".

Именно тогда, внимая монологу словоохотливого незнакомца, понял он, за что не любит Ленинград. Понял не потому, что поверил собеседнику, не потому, что их мысли хоть в чем-нибудь совпали. Понимание пришло к нему на мгновение — прозрение, рожденное стечением обстоятельств — тишины, улицы, голоса, погоды, времени суток. Пришло,

чтобы уйти сейчас же и никогда больше не повториться, — как никогда не повторится эта минута. Вспоминая, он снова ощутил успокоенность и обаяние той прогулки по утреннему городу и чувство блаженства, возникшее во время беседы с Петром Гоголем.

В тот день он не пошел в кино. Они еще долго говорили о Петербурге, смерти и любви. Потом Петр затащил его к себе домой, обещая познакомить с очаровательными девочками.

Он очутился в большой светлой комнате, увешанной по стенам коврами, — для звукоизоляции, объяснил хозяин. На улицу комната выдавалась полукруглым выступом, который сам по себе образовывал что-то вроде маленькой комнатухи. На территории этого выступа была сосредоточена вся мебель — книжные полки, секретерчик и множество разномастных стульев, возглавляемых громадным старинным креслом ("в этом кресле я принимаю женщин").

"Взгляните в окно — это Большой проспект, самая унылая улица в Ленинграде, и мне приходится тут жить. В нашем городе нет места, где было бы приятно жить. В Москве иначе — живете в Центре, вам хорошо; на окраине — плохо, зато есть куда податься: в Центр".

В дверь позвонили.

"О, чудесно, это, наверное, Катенька, она вас позанимает, пока я сбегаю в магазин".

В комнату вошла высокая большеглазая девочка. Ее прекрасные ноги были втиснуты в узкие джинсы, и все в ней казалось Никите изумительным — даже неуклюжие руки подростка, на взгляд шершавые от детских пупырышек.

"Меня зовут Катя", — кокетливо сказала она, усаживаясь в кресло и глядя прямо ему в лицо.

Хозяин ушел, оставив их наедине.

Вечером, пьяный, он затащил ее в подворотню. Там они долго целовались, остро чувствуя друг друга сквозь грубую демисезонную ткань. Ему всегда хотелось полюбить кого-нибудь в Ленинграде — вот и подвернулась Катя. Любить Катю оказалось легко и приятно, хоть и была она настоящей стервой — это он заметил сразу, еще в тот вечер. Там, в ком-

нате Петра Гоголя, она смотрела на него, будто признаваясь: "Да, я стерва. Если ты захочешь, я буду с тобой спать. Я даже соглашусь выйти за тебя замуж, но буду тебе плохой женой. И любовницей я не стану такой, какую ты хочешь. Тебе не будет со мной хорошо. И все-таки я согласна любить тебя — если ты пожелаешь".

И он пожелал. Для того и ездил в Ленинград — сперва почти каждый месяц, потом реже. Потом наступил перерыв почти в полтора года. С тех пор он ее не видел.

Об этом обо всем и думал Никита Хрящ, молодой главврач отделения психбольницы "Матросская Тишина", лежа на верхней полке купированного вагона "Красной Стрелы", увозившей его в Ленинград. Ворочаясь с боку на бок, умиротворенный и благостный, он вдруг привскочил и тихо выматерился в темноту, ощутив на пальце привычное давление обручального кольца. "Какого хрена я должен всегда его носить, если Элька норовит его снять при каждом удобном случае". Но приступ злобы минул так же внезапно, как и возник. Заснул Никита с мыслью о том, что Петербург прекрасен, и о том, что он по-прежнему любит Катю.

3. БОЛЬНИЦА

После отъезда главврача для него настало хорошее время. Галина Васильевна, заместительница Хряща, считала его здоровым и отменила все процедуры, кроме душа Шарко, который, как она полагала, весьма укрепляюще действует на нервную систему. Он же выходил из душевой злой и возмущенный и во всеуслышание объявлял: "Ничего более идиотского не видывал, никакого удовольствия от купания".

Теперь, когда его предоставили самому себе, он стал больше гулять. Долгие прогулки успокаивали его вечно взбудораженное воображение. К тому же, он получил возможность писать. Раньше это было почти невозможно — любое проявление деятельности главврач склонен был расценивать

как очередной кризисный момент в ходе заболевания, записи неукоснительно отбирались, и появлялось еще одно доказательство его безумия.

Оглянувшись, он заметил неподалеку хроника из "тихого" отделения, известного тем, что по нескольку раз на дню он начинал вдруг ходить вокруг какого-нибудь неподвижного предмета — дерева или столба, — прибарматывая что-то, схожее с латынью. Постепенно он сблизился с предметом и, почти касаясь его, что-то шептал — что именно, никто не знал, — если кто-нибудь случайно или намеренно подходил к нему, он тотчас замолкал и торопливо удалялся прочь.

Сумасшедший кружил около него. Сперва он поискал глазами дерево или столб, потом, не обнаружив ничего подходящего, смертельно испугался. Сумасшедший все приближался.

"fessus geminatus Hannibal..."

"inec tergum finic..."

" iterum Olympia..."

Он сидел, боясь пошевелиться. За эти два с половиной месяца ему не приходилось наблюдать ничего подобного. В больнице ходило множество апокрифических рассказов о буйствах сумасшедших, только он им не верил, считая, что не может нервная система сама по себе, с бухты-барухты перейти в иное состояние, а в больнице все абсолютно спокойно, нет никаких раздражающих факторов. Он ничего и никого не боялся до сегодняшнего дня. Но сейчас страх сковал его настолько, что, не ощущая уже ничего, кроме страха, он замороженно и неподвижно следил за приближающимся к нему человеком.

Сумасшедший кружил вокруг него, будто он был деревом. Круги постепенно сужались. Подойдя к нему вплотную, сумасшедший приложил холодное ухо к его голове и произнес: "Моя латынь дает мне право гордиться собой, безмолвное ты чучело". Затем, постояв возле него некоторое время, словно ожидая ответа, отошел.

"Что же меня так напугало? — думал наш герой, понемногу

приходя в себя. — Неужели я еще до такой степени нахожусь во власти глупых предрассудков? Ну, можно бы все понять, случись это в другом месте: постоянное напряжение, неврастения, суета. Но здесь?! Быть может, я бы вылечил его, если бы нашел, что ответить... Впрочем, лечить сумасшедших — не моя забота. Думаю, что, вылечив его, я оказал бы ему дурную услугу". Он еще долго просидел на скамейке, возмущаясь собой и негодуя.

А вечером жаловался Галине Васильевне: "Галина Васильевна, у меня ужасное настроение, упадок сил, апатия какая-то".

"Что же это вы? Были совсем здоровы, и вдруг — нате вам, раскисли. Может, что-нибудь случилось, напугало вас или огорчило?"

"Не знаю, Галина Васильевна. Дали бы вы мне каких-нибудь успокаивающих пилюль".

"Нет, мой дорогой, сейчас, пока идет эксперимент, никак нельзя — вы же знаете".

Вдруг он понял, как опротивела ему и надоела вся эта научная возня, затеянная вокруг него. Он без особого неудовольствия переносил процедуры, назначенные Хрящом, и без особой радости принял их отмену. Он все терпел. А теперь, когда ему понадобилась таблетка пятерчатки, эта мерзкая старуха ему отказывает.

Он отправился в палату. Там уже готовились ко сну. Все, сосредоточенные, молчаливые, стелили постели, занимали очередь к умывальнику, сидя на кроватях, потягивались, с интересом рассматривали свои руки, ноги, животы. Старались не шуметь в палате, потому что наступило время ложиться спать. Но в коридоре еще шумели — громче всех медсестры, разгонявшие больных по палатам. Ему спать совершенно не хотелось. Оставалось одно — напроситься мыть полы в коридоре и в ординаторской. "Это мне обязаны разрешить, — думал он, — тем самым я поспособствую удачному завершению эксперимента... маразм среди бела дня, то есть темного вечера. Когда я здоров, один идиот меня лечит, когда я заболеваю, другая идиотка проводит надо мной эксперимент".

Он встал с кровати, надел тапочки и вышел в коридор. "Почему не идете спать, больной?" — спросила его дежурная нянечка Света, полная блондинка лет двадцати.

"А я убирать пришел".

Больному, помогающему нянечке делать уборку, полагалось выполнить самую тяжелую часть работы. Он двигал скамейки и столы, менял воду в ведрах, а Света вытирала пыль и елозила по полу с мокрой тряпкой. Все это заняло часа полтора.

"У вас миленькие пухленькие щечки, Светочка, — сказал он ей, когда уборка была кончена и они вымыли руки, — и глазки черные".

"Ладно, идите лучше спать, а то я знаю, всю ночь приставать будете".

"Ну что вы, Света, какая вы, право! Зачем же мне к вам приставать. Дали бы мне таблетку пирамидона. Голова болит...".

"Не могу, врач не позволила".

"Вот видите — и таблетку дать не можете. А что делать, если голова болит? Послушайте, Светочка, вы же сейчас спать не пойдете? Можно, я посижу около вас, вам же одной сидеть скучно. Расскажу вам что-нибудь интересное".

"Нельзя, врач застанет".

"Ничего не застанет, а если застанет — скажете, что я только что вышел из палаты".

"Не.... приставать будете", — сказала Света после маленькой паузы. ("Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились", — вдруг припомнилось ему, но произнести это вслух он побоялся, — "еще подумает, что я псих".)

"Света, перестаньте меня бояться, я сегодня утром одного психа испугался, так потом весь день стыдно было. ("... сам о себе свидетельствуешь; свидетельство твое не истинно..." — стукнуло ему в голову). Света, вы Библию читали".

"Ничего я не читала. Шли бы вы лучше спать".

Он лежал в кровати и думал о Свете. Хорошо было бы с ней остаться. Нет, не получится: может, девочке и хочется, да служба не позволяет. Потом стал припоминать последние

встречи с женщинами, мысли сумбурно закрутились вокруг одного: "Надо выйти на улицу и найти бабу". Потом баба как-то забылась, но желание выйти на улицу осталось. Пришел на ум давешний псих — а вдруг он тоже догадается выйти, и они встретятся и поговорят? Мысли становились видениями, видения уплотнялись, превращаясь в дремоту. Ему казалось, что сумасшедший латинист ведет с ним приятный разговор, и он постепенно освобождается от неотвязного чувства вины перед ним и перед собой. Больше он никогда не будет бояться людей. Сон необоримо одолевал его, и последнее, о чем он успел подумать, — "нет ничего особенно в этих видениях, многие люди засыпают именно так".

Утром, в начале седьмого, его нашли спящим в саду — на скамейке возле оранжереи. Рядом, на соседней скамейке, мирно спал чокнутый знаток латыни.

Разразился ужасный скандал. Для разбора дела в больницу нагрянула комиссия из министерства. Из Ленинграда был срочно вызван Хрящ. Галину Васильевну отстранили от работы, но из больницы не отпускали целыми днями — комиссия снимала с нее показания. Плачущую Свету прогнали домой и приказали не показываться на глаза, пока не вызовут.

4. ЛЕНИНГРАД

В этот приезд Никите Владимировичу не повезло — с Катенькой он увиделся только вечером. Весь день он шатался по городу, продуваемый мокрым петербургским ветром. Было отчаянно холодно. К Гоголю идти не хотелось — от него не вырвешься раньше завтрашнего утра, а ему надо было побыть с Катенькой вдвоем. Он брел по Ленинграду, считая телефонные будки, и звонил Кате из каждой пятой. В шесть наконец дозвонился, но и тут ему не повезло: Катя сказала, что сожалеет, но уже обещала друзьям быть на именинах.

"Вот если бы ты предупредил меня заранее, мы провели бы вечер вдвоем, а так, если хочешь, пойдем со мной".

"Могло быть хуже", — подумал Никита.

И они договорились встретиться у метро "Горьковская" в половине седьмого.

Каждый раз, когда он видел Катеньку, его охватывало сразу несколько чувств: и радость, оттого что она такая красивая, и горечь — из-за того, что он никак не может решиться остаться около нее навсегда. А надо всем этим ералашем витала трезвая мысль: "А с тобой, пожалуй, пришлось бы потруднее, чем с Элькой!"

В метро было очень тесно. Пассажиры притиснули их друг к другу, Никита мучительно остро ощущал сквозь пальто ее маленькую грудь, живот, угловатые мальчишеские колени. Когда они вышли из вагона, он облегченно вздохнул.

В гостях ему тоже не понравилось. Жена хозяина дома представила ему сидящих за столом, называя каждый раз какое-нибудь имя из "Мастера и Маргариты": это наш Бегемот, это Азazelло ("не правда ли, похож?"), это наша Маргариточка... "Господи, — думал Никита Владимирович, — отчего в провинции такое скудоумие, такая пошлость?" Их с Катей сейчас же стали именовать Коровьевым и Геллой. "Неужели эти еврейские мальчики так редко видят русских, — размышлял Никита, — что сразу прилепили мне Коровьева?" Он попытался завести разговор на эту тему с одним из соседей, но получил в ответ: "Не стройте из себя Воланда. В нашей компании это не принято".

"Ну и черт с вами", — решил Никита Владимирович, плотнее усаживаясь в кресле, чтобы до самого ухода из него не вылезать. Его никто не трогал, к нему никто не приставал. Хозяева разносили еду и питье, учтиво спрашивали — не угодно ли? Но Хрящ злился все больше и больше, его раздражало все: и сама комната, заставленная обшарпанной мебелью, причем не было и двух предметов, взятых из одного гарнитура; и одинаковость всех этих мальчиков и девочек — все они были скучными снобами, все курили один и тот же сорт дешевых сигарет без фильтра, все, разбившись на отдельные кружки, говорили то же самое об одном и том же. От

кружка к кружку сновали хозяева в сопровождении ближайших друзей дома, создавая видимость уюта и общего разговора.

Хрящу было тоскливо сидеть в этом доме и ждать Катеньку. Он оживлялся только тогда, когда она подходила к нему или проходила около него. К разговорам он прислушивался тоже только тогда, когда в них принимала участие Катенька. Один разговор (вернее, спор) его несколько заинтересовал.

Спорили трое: Катенька, молодой человек приятной наружности, с пышной, сильно выющейся шевелюрой (говорил он резко, но заканчивал фразу с мягкой спокойной улыбкой — будто кланялся) и толстый суетливый мальчик, которого все звали Бегемотом. Спорили они об искусстве...

"...Слушай, Кэт, давай оставим Евтушенко... О Вознесенском можно уже говорить как о поэте... подожди, не перебивай, дай досказать, так же нельзя спорить...".

"А ты и не споришь, ты чушь говоришь. У тебя, Бегемотина, нет поэтического вкуса — уж не говоря о понимании. Поэты — Пушкин, Блок, Мандельштам. Никак не Вознесенский".

"Но я имею право... то есть, может ли мне нравиться и Вознесенский?"

"Катюша, мы не об этом спорим, — овладел разговором юноша с пышной шевелюрой. — Так я продолжу — чем плохи Черняев и Потоцкий? Первый — своим непрофессионализмом, второй — литературностью, хотя оба исключительно талантливы. Я сейчас не знаю хороших художников, поэтов мог бы с тем же успехом назвать и другие фамилии, других художников, и найти у них те же самые недостатки. Но из всей массы советских левых художников только эти двое трезво оценивают свои возможности и понимают, что им никогда не стать великими. В России никогда не было и не может быть истинно великого художника, потому что в России художник никогда не был свободен ни духовно, ни материально — в выборе рынка сбыта, — а это, может быть, и есть самое существенное."

"Здесь он, пожалуй, прав", — ввернул Бегемот, обращаясь к Катеньке.

"А вот в литературе — там другое дело, — продолжал пышноволосый. — Кстати, я недавно читал одного москвича, его еще недавно в психушку посадили, — тут юноша произнес фамилию, заставившую Никиту Владимировича вздрогнуть, — этот человек пишет прекрасно".

"Но ведь и он не свободен".

"Так я же говорю, что в литературе другое дело...".

Никита перестал их слушать. "Вот история, — думал он, — а я-то не разрешал ему писать. Надо будет с ним как-нибудь поговорить. А ребята какую-то чушь несут. Не понимают они специфики русского искусства".

К нему подошли Катя и Бегемот.

"Вот человек из Москвы, известный психиатр, — представила Катя Хряща. — А это — мальчик по имени Бегемот".

"Очень приятно, — сказал Хрящ. — Зовите меня, пожалуйста, Никита. Катенька, я слушал ваш интересный спор. Вы говорили о некоем писателе из Москвы — так он лежит у меня в отделении".

"И его действительно забрали насильно?" — спросил Бегемот.

"Нет, — ответил Никита, — он в самом деле болен. Но человек он приятный. Я не знал, что он писатель. Обязательно попросу у него что-нибудь почитать".

"А у вас, наверное, все становятся спокойными и приятными?" — опять спросил Бегемот.

"Не обязательно, это зависит от характера заболевания. Но как раз с ним я в хороших отношениях".

"Тогда попроси у него разрешения прислать нам что-нибудь почитать", — попросила Катя.

И Бегемот поддакнул: "Да, да, не забывайте своих старых друзей".

"Этот идиот меня бесит", — подумал Никита.

Катя ушла, и он остался один. Выпил подряд две рюмки водки, закурил сигарету из пачки, оставленной Бегемотом, и ощутил, что ему все-таки лучше и спокойнее, чем было днем. "Я все понял. Этот дом ни в чем не виноват передо

мной. Просто я уже слишком стар, чтобы веселиться с молодыми. Я должен уйти отсюда сейчас же и отправиться к Гоголю. Это идея".

После того как его осенило, Никита совсем успокоился, и даже повеселел. Он окончательно примирился с тем, что ему не повезло, и ничем уже этого не изменишь. Он подошел к Кате и сказал ей тихо: "Катенька, ты меня извини, я зайду к Петру, я ему обещал, а времени в этот приезд у меня мало. Так что я удалюсь как-нибудь по-английски. Ты позвони, когда вздумаешь уходить".

5. ЛЕНИНГРАД

Время было уже позднее, и Никита решил идти к Гоголю без звонка. "В такой час двухкопеечную будешь стрелять черт-те знает сколько, а Петр, наверное, все равно уже дома — где ему быть. Вот бутылочку с именин я зря не прихватил. Ну, не возвращаться же теперь. И так сойдет".

Так размышлял Хрящ, проходя сквозь пустынный ночной Петербург, мечтая достигнуть теплой комнаты, дружеской беседы и спокойного ночлега. Он шел и радовался чему-то — погоде, может быть, — уже не зимней, но еще и не летней, остановившейся между холодом и теплом. Его путь лежал мимо Петропавловки, где он часто гулял с Катей, и он улыбался этим воспоминаниям и удивлялся скудости "чудных мгновений", которые удерживает неблагодарная память. "Ах, все прошло, все пало прахом, и нету сладкой боли страха, что все опять возможно вдруг". Так идет сквозь прекрасный город человек, полностью отдавшийся своим мыслям, и город оскорблен его невниманием, а человек не видит перед собой ничего, кроме житейских печалей и гладкой ленты тротуара.

На мосту Никиту остановил милицейский патруль. Спросили документы.

"А что случилось?"

"Проверка документов". Они долго изучают паспорт, придумывая, что бы сказать, к чему бы придраться. Наконец

старший (в чине капитана) произносит: "Чего не спите? Если негде — идите на вокзал".

"Разве нельзя просто погулять по Ленинграду? — возражает ему Никита. — У нас в Москве таких порядков нету".

Ленинградскому милиционеру не стоит упоминать о Москве и московских порядках — это сразу же выводит его из себя. Но капитан остается все-таки в пределах вежливости: "Вы у нас в гостях, так будьте добры вести себя так, как положено".

"Господи, как надоели мне эти скотские предписания — иди на службу, ложись спать, гуляй днем, дрыхни ночью... И каждая сволочь тобой командует!" — жаловался Никита Гоголю.

"Плюнь, не бери в голову... Зря ты из-за чепухи себе нервы портишь. Лучше расскажи, что нового в столице".

"А, ни хрена. Эльку я уже совершенно не могу выносить. Я с ней становлюсь абсолютным психом — можешь мне поверить, что я не преувеличиваю, уж в психозах-то я разбираюсь".

Они ласково глядели друг на друга, переживали встречу. Нежно рассматривает Гоголь Никиту — усталое лицо, руки, играющие неизвестно откуда взявшейся отверткой. Петр любит его — бескорыстной, поздней любовью конченного человека, неудачника. Так влюбляться в чужую биографию умеют только бездетные люди — идеальной отцовской любовью, когда житейские дрызги не заслоняют духовной близости, любовью, довольствующейся малым, без ревности и разочарований.

И Никита тоже любит Петра — более эгоистично, но не менее нежно. Для Никиты Петр и его окружение — оазис, где можно расслабиться, отдохнуть от вечного напряжения, атмосферы безумия и страха, царящей в больнице; отдаться вольности гоголевского дома, напиться в доску, кричать, плакать, смеяться, биться головой об стенку, быть дураком, циником, слюнтяем, подонком — кем угодно, только не опостылевшим будничным Никитой Владимировичем Хрящем. Гоголь для Никиты — пример того, что воз-

можно сохранить безошибочную порядочность, даже будучи неудачником, отщепенцем, алкашом.

"Надо бы отметить встречу, — говорил из большой комнаты Петр, суетясь у шкафа, — давно ты не приезжал, забыл нас совсем. Жаль, что жрать в доме нечего, придется хлебом закусывать".

"Это пустяки. Вот я — дурак — забыл со дня рождения бутылку прихватить".

"Да у меня все есть — и водка, и сухого полторы бутылки со вчера осталось".

"Ты просто гений".

Петр принес стопки, нарезал черствый хлеб. Выпили, сразу же налили по второй.

"Ты не представляешь, как мне все осточертело. Что ни день — то новость. В больнице вывесили приказ: посещать больных можно теперь только раз в неделю, и не более чем одному человеку. Какой-то кретин из Министерства от нечего делать строчит нелепые бумажки, а нам — расхлебывать: ругаемся каждый день с родственниками наших психов. И сегодня — эти псевдоинтеллигентные молокососы... Кстати, один из них сообщил любопытную штуку: оказывается, пациент из моего отделения, спятивший на почве суровости российского климата, — известный (в узком кругу) писатель. А я его с этой стороны не знал. Приятный человек. Вот бы мне тоже — сойти с ума от холода и поваляться на койке месяц-другой".

"Ты сегодня какой-то желчный. С Катей поссорился, что ли?"

"Нет, она должна скоро позвонить".

"А она там осталась?"

"Да. А я не выдержал. Только ты с твоим оптимизмом можешь выносить в больших дозах эту самодовольную юность. Давай еще по одной".

Никита пьет быстро, давится, из угла рта вытекает на пиджак струйка водки. Он долго нюхает корочку — что-то сегодня не идет. Гоголь пьет спокойно, не торопясь, булькает у него где-то уже в пищевом. Морщится он только для по-

рядка, аппетитно жует хлеб и приговаривает: "Беленькая, чистенькая, сладенькая ты моя..."

"А что у тебя слышно?" - спрашивает Никита.

"Да ничего. Кадров новых нету — был в зверском запое".

"Это ты зря. У тебя сегодня можно остаться?"

"С Катей?"

"Да. Если, конечно, она позвонит".

"Почему ж нельзя? Оставайся".

"Спасибо".

"Не за что".

Выпили еще.

"Тоска, старина, смертная. Пытаюсь лечить сумасшедших — а зачем? В этой стране сумасшедшим быть легче, чем нормальным. Вот я — ведь ничего же не хочу, кроме тишины и покоя. Так нет — только приспособишься, притрешься — сразу же новый запрет, закон, указ, декрет — и хана. Начинай все сначала".

"Россия, мой дорогой, страна рабов и алкоголиков. Тынянов сказал: "Вот однажды напившись, возьмется народ и разрушит насильственные узы рабства!" И алкоголизма, добавлю я в скобках. А пока выбор невелик: быть рабом, как ты, или алкоголиком, как я. И ждать. А чего ждать — не знаю. Может быть, второго Пришествия. Или революции. Выпей-ка еще стопочку".

"Нет уж, только без революций. Народ допьется до белой горячки, опять зальет весь мир кровью, потом проспится и все забудет. Нашей стране нужен Мессия, а ты вот сидишь тут и глотаешь водку, будто это и есть высшее проявление свободолюбия. Народ пьет, и ты пьешь. А жить уже становится совершенно невозможно".

"Тоже мне — Чаадаев. Может быть, и хорошо бы переделать русского мужика во что-нибудь более удобоваримое. К сожалению, его, как и меня, не переделаешь — какие мы есть, такие есть".

"Черт с ним. И с тобою тоже. Я кажется малость окосел.— Никита прошелся по комнате и снова плюхнулся в кресло.— Послушай, а ты, случаем, не читал этого моего подопечного (он запнулся на мгновение — фамилия выпала из памяти;

потом вспомнил...) ? У вас в Ленинграде он вроде бы популярен...".

"А-а, как же, конечно, читал. Это очень неплохо. Ты бы с ним поближе познакомился".

"Познакомлюсь. У меня с ним и так вполне дружеские отношения — насколько это вообще возможно в нашей специфической обстановке".

Зазвонил телефон. Гоголь поднял трубку. Это была Катя. Она сообщила, что уже выезжает, но приедет с подружкой.

"Вот уж не везет, так не везет, — думал Никита. — Девки привезут еще водку, будет пьянка на всю ночь. Какая уж тут любовь!"

"Брось, я все улажу, — утешал его Гоголь. — Полчасика посидим, потом пойдем спать...".

Пришли Катя и ее подружка. Разделись, вытащили из сумок бутылки, сели к столу. Подругу звали Леной. Оказалось, что Никита хорошо ее запомнил — на дне рождения она, как и сам Никита, весь вечер просидела в кресле в углу, не вставая, в разговоры не вступала и пила рюмку за рюмкой. Катя сказала ему тогда, что Лена — очень хорошая девочка, лучше всех в этой компании, только любит выпить.

Теперь, у Гоголя, она тоже примостилась в сторонке, покойно положив на стол руки — такие прекрасные, что у Никиты дух захватило. Эти руки повергли его в состояние блаженного беспокойства: ему все время хотелось взглянуть на них, но пьяная боязнь выдать свое желание заставляла его краснеть и отводить глаза. Наконец он не выдержал и подошел к Лене.

"Господи, Лена, какие красивые у вас руки! Я ничего подобного никогда не видел. Знаете, обычная девушка с такими руками обязательно была бы неврастеничкой. Ее бы вечно мучило несоответствие рук и всего остального. Малейший изъян, даже надежно скрытый платъем, — и неврастения обеспечена. Но у вас никакой неврастении нет — я бы сразу заметил. Это значит, что либо у вас и все остальное — такое же совершенство, как и ваши руки, или уж такая какая-нибудь загогулина в психике, что и мне не снилась!"

"Никита, не кадрись!" — закричала Катя и подмигнула подружке. Лена молча улыбалась.

"Леночка, вы меня совсем очаровали, — заявил Никита. — Давайте выпьем. Хотите со мной выпить?"

"Да", — сказала Лена.

И Никите Владимировичу не повезло в последний раз — он пил с Леной, с Катей, с Петром и напился до полного беспамьятства. Когда он очнулся, то увидел только Лену, сидящую на том же месте, что и раньше. Ни Кати, ни Петра в комнате не было. Лена спокойно объяснила ему, что Гоголь пошел провожать Катю, а ей далеко ехать, и она решила остаться.

"Что ж вы меня не разбудили?" — пробурчал Хряц. Он трезвел с каждой минутой и чувствовал себя прескверно. Как же глупо все получилось! Он понял наконец, что в этот приезд с Катей ничего не выйдет, что мечты его обрушились и пошли прахом — из-за того, что он напился как свинья. Он уже забыл, что весь день и весь вечер пытался остаться с ней вдвоем, и винил во всем только самого себя.

"А вы что ж спать не идете?" — спросил он Лену.

"Я ждала, пока вы проснетесь".

"Вы милая девочка, Лена. Идите теперь спать, я уже проснулся и со мной все в порядке".

"Сейчас пойду. А вы на кого сердитесь — на меня или на Кэт? Кэт вас не любит, она мне говорила. А вы ее любите, да?"

"Ну, Катька — сука, дешевка, блядь..." — Никита еле сдержался, чтобы не выпалить все это вслух. Вместо этого он походил немного по комнате, бессмысленно натываясь на стулья, и неожиданно для него самого грубо отрезал каким-то скрипучим голосом: "Знаете, Лена, не лезьте не в свое дело". Помолчал и добавил зачем-то: "... пожалуйста".

Воцарилось тягостное молчание. Никита подумал, что хорошо бы прямо сейчас уехать в Москву. Но искать такси, ехать на вокзал, доставать билет... Никогда еще ему не было так себя жалко.

"Извините меня, Леночка, я что-то совсем расклеился. Выпить ничего не осталось?"

"Пить больше не надо. Вы успокойтесь. Я вас очень жа-лею. Хотите, пойдем сейчас спать — вместе?"

И они отправились спать.

Так увенчалось нежной удачей фатальное невезение этой командировки.

Когда Лена разделась и скользнула вдоль него под одеяло, Никиту охватило невиданное чувство покоя — будто он провинился перед кем-то, долго умолял о прощении, валяясь в ногах, и его подняли с колен, и наконец простили. Ее губы и пальцы умело снимали с него тяжкий груз мелких унижений, дурацких забот, бессмысленных споров — но это было умение сестры милосердия, а не шлюхи. Нет, это была не любовь — любовь никогда не бывает абсолютной, в любви всегда полным-полно недомолвок, скрытого соперничества, преодолеваемого физического отвращения, надрыва. Абсолютной бывает только доброта. Его дарили всем, чего ему не хватало, ему позволяли насыщаться, как позволяют насыщаться много дней голодавшему человеку, деликатно стараясь не замечать его сумасшедших движений, его жадности и худобы. Ему подавали милостыню, подавали щедро и не скупясь — и впервые в жизни он понял, что можно подавать и принимать подавание с достоинством. Все, что происходило с Никитой, не распалось на серию взлетов и падений, как в мультипликационном фильме с его отрывистой, пародийной сменой кадров, но было единым состоянием исполнения ожиданий и невысказанных просьб. Никита понимал, что нельзя и желать удержать Лену навсегда, как нельзя добиться, чтобы у твоих дверей постоянно дежурила "Скорая помощь". Но ему казалось, что где бы он ни был, она придет к нему, как только ему станет совсем невмоготу.

И тут Никита Владимирович Хрящ постиг сумрачную доброту Петербурга, его фонтанов, дворцов и непогод. Бог знает, какие всадники скакали вчера по его мостовым, до крови расшибая железными копытами голландскую брусчатку; Бог знает, какие руки отгладили перила лестниц чопорных особняков! Но всем отдает этот город свою несравненную красоту; ты можешь бесноваться, сквернословить,

грешить — но всегда будут прекрасны и добры к тебе каменные холодные императоры, архангелы и кони...

Припоминая впоследствии эту единственную ночь с Леной, Никита понял вдруг то, что всегда неосознанно озадачивало его в Кате — какая-то заученность движений, словно она говорила на иностранном языке, без акцента, но тщательно подбирая слова. Катя попросту подражала Лене — тому, чему нельзя подражать и нельзя научиться.

Засыпая, он бормотал уже в полусне: "Петербург... Лена... милая... хорошая... Петербург..."

Назавтра Никиту Владимировича срочно вызвали в Москву.

6. МОСКВА

Сумасшедший дом жил, казалось, своей обычной, размеренной, будничной жизнью. Но в святая святых больницы, в кабинетах врачей, ординаторских, в коридорах, где еще несколько дней назад врачи останавливались покурить и поболтать друг с другом или пофлиртовать с молоденькой практиканткой или медсестрой, царило беспокойство, витал дух склоки, предчувствие большого скандала. Все были чересчур строги с обслуживающим персоналом. Ждали директив из Министерства — приказов, разносов, реорганизаций, увольнений. Спокойные дни "Матросской Тишины" безвозвратно кончились. Все понимали, что иначе и не могло быть: слишком уж долго их не трогали. Все менялось. Установленное навсегда — отменялось, незыблемое оказывалось зыбким. Многие должны были упасть вниз, многие — вознестись.

Хрящ ко всей этой суматохе отнесся спокойно, хотя его несколько раз вызывали в Министерство, орали на него и топали ногами. Поездка в Ленинград еще держала его в своих мягких объятиях, он твердил про себя два женских имени, и все ему было трын-трава, даже то, что его временно отстранили от исполнения обязанностей главврача отделения — до окончательного выяснения истинных виновников при-скорбного инцидента. Он бродил по палатам бывшего своего

отделения, беззлобно не замечая беспорядков и упущений, часто беседовал с кем-нибудь из больных.

Начали поговаривать, что он сходит с ума.

Беседовать они начали сразу после приезда Хряща — не как больной с врачом, на равных. Хрящ все больше молчал, слушал...

"Начинать жизнь заново — нет, это не по мне. Пусть лучшую, пусть интересную, но ведь новую; а я уже стар, я хочу остаться в своей старой и плохой жизни..."

"Не могу с вами согласиться, — изменил Никита своему обыкновению слушателя, — откуда именно у вас такой пессимизм? Ведь единственное свое счастье — писать книги — вы носите в себе и с собой? Так или нет? И если что-нибудь мешает вам писать, почему бы вам не уйти — все равно куда? Лишь бы удобно было писать. И сменить обстановку вам как писателю было бы не вредно".

"Это все верно вы говорите. Только не о том. Понимаете, я не молод и никогда молодым уже не стану. Я старый и хочу писать. Для этого мне нужен покой, старый, привычный покой — новый не будет покоем уже по одному тому, что он новый. Чтобы искать, надо быть молодым. А мне искать нечего, я и так уже слишком много знаю для того короткого отрезка, который мне еще суждено пройти. Но суть не в этом. Хоть и называю себя старым, а волнуют меня до сих пор детские вопросы, самый детский и наивный из них: для чего мы живем?.."

"Или — для кого?"

"Вот видите, с вами приятно разговаривать — схватываете с полуслова. Конечно, ради кого, а там сразу начинается полная неразбериха: ради своих детей, ради друзей, ради единомышленников, ради человечества, наконец... Да ведь и не важно, на ком или на чем остановишься; можно жить и ради любимой женщины... Вы уж извините меня за пафос — я вещать начал, чтобы на крик, на визг не перейти.

Значит, живешь ты ради своей подруги, а она возьми, да и увлекись неким молодым человеком, про которого все на свете (и она сама) доподлинно знают, что он — последнее

дерьмо. И не нужен ты ей со своей любовью, со своими идеями, со своей добротой и готовностью бесконечно прощать... Так что же теперь делать? И ради чего жить? Я ведь желаю ей счастья, вижу, что ей плохо, но сделать ничего не могу. Наоборот — я ей только мешаю своей навязчивостью, своим несносным благородством. Будь я чуть похуже, она бы спокойно меня бросила, а я такой хороший, что бросить меня жалко... Получается, что я живу для того, чтобы мучить ее и себя.

Для одного человека жить, выходит, нельзя. Остается человечество. А человечеству сейчас хорошие люди не нужны. (Я это не к тому, будто я очень хороший. Но предположим, что я именно такой, каким хотел бы быть...) Я, Никита Владимирович, по натуре своей — просветитель. А миру нынче просветители без надобности. Ему нужны супермены, фашисты. Никакого Толстого — только Достоевский. Чтобы Толстого любить, надо в Христа верить.

Хорошо, сейчас еще Достоевского читают. Но — "идуший за мной сильнее меня" — помните? Придет время, и Достоевского забудут. Тогда-то и придет новый Мессия, новый писатель — под стать вконец одичавшему миру. Вот какие наступили дни... Потому и помирать пора. Потому и хочу я покоя — все равно какого, только поскорее..."

По Москве волною шли обыски и аресты.

В Киеве разогнали студенческую демонстрацию. Многие были арестованы.

Во Львове произошли чуть ли не уличные бои. Войска стреляли в толпу.

В Польше студентов забивали до смерти в милицейских участках.

К границам Чехословакии подтягивались советские войска. С интервалом в четверть часа шли и шли туда ночные эшелоны — через Карпаты и Западную Украину.

Люди вполголоса обсуждали эти новости — возмущались, негодовали, боялись, по ночам "чистили" книжные полки, плотно занавесив окна и вздрагивая при каждом шорохе.

Другие радостно потирали руки и говорили, не понижая голоса, что им бы власть — они бы так не церемонились.

Была, однако, небольшая группа советских граждан, совершенно равнодушная ко всей этой суете. Они затворялись в тиши лабораторий и забавлялись: выдумывали новое оружие, двигали силой воли игральные карты. Не все пока получалось, но скоро должно было получиться. На всем Божьем свете они признавали действительно существующими только Америку и науку, были воплощением уверенности и презрительного спокойствия. Их драмы происходили в мире идей и умозрительных построений. Для всякого иного драматизма у них всегда была наготове всепонимающая, ироническая усмешка.

А еще нашлись люди — их, правда, было совсем мало, — которые выбрасывались из окон многоэтажных зданий, вешались в сортирах, обливали себя керосином и поджигали...

7. МОСКВА

В этот день Эля принимала гостей. Собственно, все они были Никитины друзья. Эля перезнакомилась с ними в период ухаживания и в первое время после свадьбы. Никита ненавидел семейные приемы — Элино тщеславное кривляние превращало их в пытку. Как-то она, основательно выпив, выбежала к гостям голая. После этого стриптиза Никита Владимирович стал охладевать к жене. Он много раз пытался выяснять отношения, но все выяснения и уговоры кончались безобразным криком, истерикой, слезами...

Эля постоянно скучала. Их совместная жизнь казалась ей серой, тоскливой, однообразной. Она вечно упрекала мужа: "Тебе ничего не надо — лишь бы лежать на диване, задрать ноги!" "Я же хожу на службу", — лениво возражал он. Черт знает чего она хотела — славы, шума, всемирного признания... В сущности, она была права — надо же было ей попасть в круг людей, которым ничего не надо! Но делать было нечего — она привыкла и к этим людям, и к самому Никите. Мужа она ценила за его покладистость, доброту и

приличную зарплату. Любить же его она никогда не любила. Хозяйства не любила тоже и делать толком ничего не умела. Единственное, чего ей удалось достигнуть за два года их брака, — это стать хорошей любовницей одного, оставаясь при этом плохой женой другого.

Никиту Элины интрижки мало беспокоили. Семейная жизнь не получилась, это было ясно, но ломать ее не имело смысла — сразу возникла бы куча неприятных кляузных проблем — разводиться, менять квартиру и тому подобное. Иногда Хрящу становилось обидно за всю эту бессмыслицу — в те моменты, когда ненадолго возвращалась былая любовь. Но случалось это реже и реже. А вообще — их семейному счастью могли бы позавидовать многие — они жили тихо, без скандалов, заботились друг о друге.

Но в этот день Никита вышел из себя. Он пришел домой поздно, хотел сразу лечь спать, а тут — гости, шум, полным-полно народу. И вдруг на него нашло: ни с кем не здороваясь, он прошел к себе в комнату, разделся и лег в постель. Но, полежав минут десять, он снова встал, оделся, позвал Элю. Взглянув на него, она не на шутку испугалась: "Что с тобой, ты весь белый?" У него тряслись руки, по лицу ходили желваки...

"Ничего особенного, просто я смертельно устал и хочу наконец отдохнуть. Скажи им, чтобы они все сейчас же ушли".

"Хорошо". Она вышла из комнаты, выразительно пожав плечами — очередная прихоть, истерика, дурь.

А он все ходил по комнате, беспрестанно вопрошая: "Господи, за что? За что меня так мучить? В чем я провинился перед Тобой? Что же мне теперь делать? Как жить?" Он кинулся на кровать, закусил подушку, чтобы не разрыдаться в голос. Вошла Эля.

"Милый, ну что с тобой? На работе что-нибудь случилось?"

"Нет. Пожалуйста, не трогай меня. Ты тут совершенно ни при чем".

"Нельзя же так распускаться, Кит, ты должен обязательно сказать мне, в чем дело..."

"Оставь меня с этими дурацкими расспросами. Если тебе хочется поговорить, иди лучше к своему ебарю".

"И пойду. Господи, как я от тебя устала!"

"Вот и иди. Пусть он тебе заткнет чем-нибудь пасть, чтобы ты наконец замолчала".

"Но что же все-таки случилось?.."

Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, но слышал издалека ее последние слова: "...истерик... слюнявая баба..." Хлопнула входная дверь, и он судорожно вскочил, отпихнул подушку, побежал к столу, вывернул на пол содержимое верхнего ящика, где хранились шприц и заветная коробочка с люминалом.

"На хуй, на хуй эту суку с ее вопросами, всю эту жизнь с ее бесчеловечной тупостью... Боже мой, бож-ж-ж-е мой, неужели нельзя иначе, я еще так жить хочу. Что я за идиот — лечил бы психов, жил помаленечку... Неужели все кончено?"

Через несколько минут он вдруг успокоился и принялся профессиональными движениями разбивать ампулы. Подумал, что забыл вскипятить шприц, — и засмеялся этой глупой мысли отрывистым коротким смехом, еще влажным от недавно пролитых слез.

Когда ампулы кончились, он лег на кровать, бездумно глядя в потолок. Да и что же ему оставалось еще делать? Разве что считать последние секунды. Сосчитать до тысячи — верный способ поскорее заснуть.

...Когда Никита засыпал, губы его шевелились: "Сто один, сто два... сто десять, сто одиннадцать..."

А в самом деле — что же все-таки случилось? Да ничего особенного. Ничего такого, чему стоило бы удивляться или ужасаться. Жизнь шла, как всегда идет — не без сумбура и мелких неожиданностей — таково уж ее свойство.

А Никита Владимирович Хрящ спал непробудным сном. И если ему пришлось проснуться, то не потому, что он этого хотел. Его будили долго, по всем правилам медицины. И, разбудив, заверили, что все уже обошлось, кризис прошел, нужно только немного отдохнуть — переутомление, нервное расстройство, "вы же, батенька, врач, сами все понимаете".

Никита кивал головой, соглашался. Написал Гоголю в Ленинград, просил приехать, помочь: "Знаешь, Петя, я не могу больше жить в России". Гоголь читал письмо, горестно бормотал: "Как ты заблуждаешься, Никитушка, как заблуждаешься..."

Москва, 1968 г.

Григорий ЦЕПЛИОВИЧ

"ВЫДУМАННАЯ ПРАВДА"

Избранные рассказы, 128 страниц.

*ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
В МАГАЗИНЫ РУССКОЙ КНИГИ.*

Цена в Израиле — 20 лир, за границей — 2,5 доллара.

При заказе непосредственно в издательстве — 16 лир.

Заказы принимаются по адресу: улица Нахмани, 62
Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

**(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан
адрес, по которому высылать книгу.)**



Лия ВЛАДИМИРОВА
(Юлия Дубровкина)

БАЛЛАДЫ О ВРЕМЕНАХ ГОДА

ВЕСЕННЯЯ БАЛЛАДА

Задули теплые ветра.
Весна, весенняя баллада!
Подсохли к полдню тропки сада,
Теплее стали вечера.
Весна, ликует детвора,
Пускаясь в ближние походы.
И нам бы, нам бы со двора,
Но горечь плена слаще меда.

Такие новые утра,
Как будто в пору снегопада,
Пока садовую прохладу
Еще не выпила жара.
Газоны зелены с утра,
Вот-вот проснутся огороды...

И нам бы в рост пойти пора,
Но горечь плена слаще меда.

Природа, музыки сестра!
Ей слов придумывать не надо,
Звучнее песенного лада
Воды и воздуха игра.
Стояла юная пора,
Хмельная, терпкая погода.
На сердце нежность и хандра,
Но горечь плена слаще меда.

Летит на пламя мошकारа.
В груди и робость, и отрада.
Весна, весна. Лет десять кряду
Бессонный говор у костра.
А нам не встретиться вчера...
Зовет дорога пешехода,
С горою сходится гора,
Но горечь плена слаще меда.

7.8.76.

ЛЕТНЯЯ БАЛЛАДА

Не сплю. И думаю одно:
За что со мною все суровы?
Ропщи, работай — все не ново...
Все стало как-то все равно.
Как в доме запертом, темно
И пусто. Память — на засовы.
Лишь блеском неба голубого
Нет-нет, взволнуется окно.

И рябь... Окно мое! Оно
Ключа прозрачной ледяного,

Светлее льдинки, звонче слова,
Искрящегося, как вино.
Я жду... Живых забот полно
У дела всякого земного.
Пестреют летние обновы...
Нет-нет, взволнуется окно.

Не сплю, мне вянуть суждено
Как бы в плену у домового.
Пыль, дрема вечера сухого...
А утром в городе красно,
Росисто, зелено, лилово.
Букеты ранние готовы...
Нет-нет, взволнуется окно.

Оно чуть-чуть отворено.
В окне напротив — танцы снова
В кануне лета выпускного...
Ну, право, стариться грешно.
Все вымыто, просветлено
В составе утра, дня живого.
И смех из сада городского...
Нет-нет, взволнуется окно.

6.8.76

ОСЕННЯЯ БАЛЛАДА

Меня, усталую сову,
Все манит день! И ведь несложно
И обмануть меня. Возможно,
Я все во сне, во сне плыву.
Я вижу — как не наяву,
Оттенки слухом различая...
Спрошу — себе же отвечаю,
А все же, кажется, живу.

Себе обязана родству
С собой. Привычный, бездорожный
Мой путь — к себе. В тени острожной
Я вижу неба синеву,
Я слышу дальнюю листву,
В особенности, выпив чаю...
А там — на кухне заскучаю,
А все же, кажется, живу.

Отпустит солнце тетиву, —
Хотя и ночь, но осторожно
Проблещет осень! И безбожно
Мешать такому торжеству.
Я не причастна к волшебству,
Я ни за что не отвечаю...
С собою встретиться не чаю,
А все же, кажется, живу.

Листок мараю — и порву.
Кой-как проходит день ничтожный...
Но светел полдень, лист тревожный.
Петляя, падает в траву.
Я вижу все по существу —
Я ничего не замечаю.
Я — тень себя и тень встречаю,
А все же, кажется, живу.

9.8.76.

ЗИМНЯЯ БАЛЛАДА

С тех пор немало дней прошло.
Не будет снега... Мне об этом
Сказали. Только рассвело —
И снег валит не по приметам!

Все ново, празднично, светло,
 Как будто в первый день творенья...
 И первое стихотворенье...
 Три дня, три вечности мело.

О, снега чувствовать тепло,
 О нем тоскуя душным летом!
 Забыть бы это, внять советам...
 А жить без снега тяжело.
 Но солнце южное взошло —
 И вижу новый снег в волненье:
 То белых цитрусов кипенье...
 Три дня, три вечности мело.

Снег, снег... От сердца отлегло.
 Живи, дыханием согретым
 Дыши на снежное стекло,
 Малейшим радуйся приветам!
 Хотя бы и не повезло
 Ни в чем, ни даже и в смиренье.
 Но снег! Но строчек повторенья!
 Три дня, три вечности мело.

Да будет все, что не цвело,
 Как снег, сиять легчайшим цветом!
 Земля в цветенье, все бело
 На свете, в белое одетом.
 Снег, снег... Мгновение пришло, —
 Снежинок блеск, столпотворенье,
 И больно, радостно для зренья...
 Три дня, три вечности мело.

8.8.76.

ВАРИАЦИЯ

Ты говоришь, никто не виноват...

Ф. Исскандер

Не говори, что я виновней всех.
 Пока плывут на север облака,
 Пока в полях цветами дышит снег,
 И блещет небо в венчике цветка...

Не говори, что я виновней всех,
 Пока сияет взор из-под платка,
 Пока так светел юношеский смех,
 И так тепла кора березняка...

Не говори, что я виновней всех.
 Не говори, что память коротка,
 Пока так много солнечных прорех
 В густых тенях, в листьях черновика...

Не говори, что я виновней всех.
 Пока не смолкнул ропот родника.
 Пока в минуту грусти, как на грех,
 Лучом пробьется первая строка...

Не говори, что я виновней всех.
 Пока весна доверчиво-легка.
 Пока она смешала без помех
 Так много легких весен для венка...

Пока сияет взор из-под платка,
 Пока в полях цветами дышит снег,
 И так тепла кора березняка...
 Нет, говори, что я виновней всех!..

Август, 1976.

Джон АПДАЙК

**МЫСЛИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
НА ПУТИ ДОМОЙ С ВЕЧЕРИНКИ**

Был я боек? Достаточно весел?
А хоть раз я удачно сострил?
Обаятелен был? Интересен?
Был я сер? Был я мудр? Был я мил?

Той девице, дебелий и тучной.
Подпевал я; не лучше ль в упор
Было брякнуть, что Элиот — скучный.
Что до лампочки мне Кьеркегор?

Лучше б я улыбался манерно
Да ронял за намеком намек.
Все б тогда улыбались, наверно:
"Он глубок! Он глубок! Он глубок!"

ВО СЛАВУ

Я ношу один и тот же териленовый галстук
уже полтора года, не меняя.

*Кеннет ХАТТОН, "Химия",
изд-во "Пингвин Букс".*

Из терилена галстук мой.
А терилен, оказывается,
Не пачкается, не горит,
Не мнется, не развязывается.

Полиэфирный колорит
Блестит, как небо звездное;
Пред ним бессильны в январе
Ветра и вьюги грозные;

Хоть в марте ливни на дворе,
Шагаю в нем спокойно я;
Он не линяет нипочем
В июле, в пору знойную;

И не свернется он жгутом
Под грязью или влагою.
На мне он будет и тогда,
Когда в могилу лягу я.

О да! Когда придет череда
И мне вкусить забвение
И щелочи меня в земле
Подвергнут разложению,

То будет там сиять во мгле
На прахе тела брэнного
Прочней всего "ин стату кво"
Мой галстук териленовый.

Перевел Г. Бен

Фрэнсис Эллен ХАРПЕР
(1825- 1911)

СВЕТА! БОЛЬШЕ СВЕТА!

(Предсмертные слова Гете)

"Света! Света! Ставни шире!
Тьма окутывает веки!
Света! Света! Больше света,
Прежде, чем уйду навеки.

Блики солнечного света
Пусть играют на постели
Перед тем, как мне спуститься
В край, где грустно бродят тени.

Света! Взор застав туманом,
Смерть ползет, во тьму одета,
Но в лицо ее взгляну я
Сквозь поток земного света!"

Не прилива вдохновенья
И не мастерства поэта —
Нет, он просит, умирая,
Только света — больше света!

Не мечтает он о лаврах,
Что увянут после лета —
У него одна молитва:
"Света! Света! Больше света!"

О Творец! Когда угаснут
Наши грезы в жизни этой,
Дай нам знание, дай нам зренье,
Дай нам света — больше света!

Перевел Г. Бен

Луис СИМПСОН

ЯСЕНЬ И ТОПОЛЬ

Открыв свободу, человек
Сражался пешим строем;
Был верхом доблести набег,
Разбойник слыл героем;
Но чтит учтивость этот век —
Уж так он был устроен.

Ой вы, ясень, и тополь, и плакучая ива!
А трава над пехотой зеленеет красиво.

При Мальплакэ и Ватерлоо
Мы вежливо сражались:
С врагом здоровались тепло.
Стреляя, улыбались;
Да, говорят, и при Шайло
Грубить бойцы стеснялись.

Ой вы, ясень, и тополь, и плакучая ива!
А трава над пехотой зеленеет красиво.

Но под Верденом, наконец,
Бой стал занятием грубым:
Был горек жалящий свинец,
Пехота шла по трупам;
И смерть не уважал боец:
Геройство стало глупым.

Ой вы, ясень, и тополь, и плакучая ива!
Нынче время пехоте помирать некрасиво.

Перевел Г. Бен

Огден НЭШ
(1902-1971)

ЭПИГРАММЫ

Она так стыдлива всегда
И так обнажаться боится,
Что в ванне не знает вода,
Мужчина она аль девица.

x x x

Одна невеста, стоя под венцом,
Была — я видел сам — весьма печальна:
Ее жених, что трижды был вдовцом,
Застраховал ее перед венчаньем.

x x x

Один термит отведал пол
И вкусным этот пол нашел.
Вот почему мой дядя Билл
В подвал из спальни угодил.

x x x

Недостаток котенка
Тот,
Что когда-то он будет
Кот.

x x x

Детям нужно что-то,
Чем пренебрегать:
И для того Создатель
Им дал отца и мать.

Перевел Г. Бен

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

Автобиографическое повествование в двух книгах

Книга первая "ИЛЛЮЗИИ", 216 стр, цена в Израиле — 27 лир, при заказе в редакции — 23 лиры, стоимость за границей — 3 доллара.

Выходит из печати в ноябре 1976 года *

Содержание:

Москва — 1937 год
Нарышкинский бульвар
Война
Томск
Я и Кирилл Патрикеев
Моя проклятая оболочка
В Ивановском Кедраче
Быковские звезды
Наш незабвенный ОРС
Заверяем товарища Сталина
Будущий Плевако
Письмо братьям-корейцам
Первая любовь
Грозный мэтр Вышинский
Кающиеся большевики
Дело Алика Бакмана
Перед закрытым шлагбаумом
Как я редактировал сельскохозяйственную газету
Бухгалтер-гипнотизер
"Пиня из Жмеринки" и другие
Великий заботник
Биотоки Терехова
Чиновное счастье
Мой партийный падре
Иллюзии
Бунт в ЦДРИ
56-й год
""При их молчаливом согласии""

Заказы на книгу принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

(К заказу должен быть приложен чек, и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)

* Вторая книга "Крушение" выходит в свет в январе 1977 года

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Предлагая вниманию читателей документальное повествование о провале израильской "агентурной сети" в 1954 году и о роковых последствиях этого провала для самого Израиля, редакция с сознанием полной ответственности предаёт огласке один из самых темных и болезненных эпизодов в истории страны. Мы отнюдь не просим снисхождения к правительству или народу Израиля, как это делают иные, ссылаясь на то, что государству тогда было всего шесть лет. Ни государство, ни правительство, ни тем более народ Израиля в течение долгого времени не имели и понятия об этой аванпоре. Ее затеяла горстка политических кондотьеров, которые пользовались, правда, огромным влиянием, но не нашли в себе элементарного мужества ответить за случившееся. Оказавшись в плену определенной политической доктрины и послав почти на верную смерть группу преданных своему народу энтузиастов, они действовали тайно, за спиной правительства и народа, на протяжении многих лет пытаясь замести следы и уйти от ответственности, хотя бы даже и моральной.

Скажем прямо: и по масштабам, и по понесенным потерям случившееся в 54 году в Египте никак не соответствует разразившейся впоследствии продолжительной политической буре. Одна дорожная авария в выходной день уносит больше жертв, чем пострадало в результате так называемого "Гиблого дела". Но если вот уже 22 года не проходит дня, чтобы ни появилась в печати или на книжном рынке какая-нибудь новая статья или новая, посвященная "Афере" книга, то это лишь потому, что, сколь бы ни было незначительным то, из чего разрослась "Афера", она задела, по-видимому, самый жизненный нерв нашего государственного существования. Ибо Израиль с самого начала мыслился как страна свободы и справедливости, за которую ее граждане не только будут готовы умереть, но которая стóит того, чтобы за нее умереть.

Как верно подметил Морис Дюверже в своем недавнем "Открытом письме к социалистам", демократия — отнюдь не естественное состояние человеческого общества. Подобно тому как физическому телу свойственно падать, а не взлетать ввысь, так и в человеческом обществе заложена естественная тенденция скатываться к произволу и насилию. Демократическое устройство — результат многовековых усилий человечества, и подобно тому как самолет держится в воздухе и не падает камнем вниз благодаря тому, что исправно и ни на миг не останавливаясь действуют механизмы, обеспечивающие его полет, так и демократическое устройство держится на ежечасной заботе о нем, на сознательном уходе за ним, на непрерывном участии граждан и избранных ими учреждений в жизни общества.

Именно поэтому предлагаемая история не должна ввергать нас в пессимизм, а, напротив, вызывать у нас гордость, что народ Израиля со свойственным ему чувством справедливости и по сей день не успокоился — и не успокоится до тех пор, пока не восторжествует истина.



Михаил ЛЕДЕР

АФЕРА,

ИЛИ ДЕЛО,

КОТОРОЕ ТЯНЕТСЯ 22 ГОДА

"Горе судну, капитан которого забыл о муках пассажиров".

(Телеграмма Мартина Бубера
Леву Эшколю от 3.11.1961)

ПРОЛОГ

Конец апреля 1951 года. В каирском аэропорту по трапу самолета, прибывшего из Лондона, сходит смуглый молодой человек атлетического вида. Его британский паспорт, выданный на имя уроженца Гибралтара Джона Дарлинга, агента по сбыту электроприборов, снабжен туристской визой сроком на три месяца. Цель приезда — изучение египетского рынка и возможностей для сбыта продукции ряда английских фирм.

В действительности это был никакой не уроженец Гибралтара и никакой не Джон Дарлинг, а уроженец Иерусалима Авраам Дар, моряк и мошавник, в прошлом активный деятель нелегальной алии и боец Палмаха, успешно прошедший в последние месяцы Войны за Независимость ряд смелых разведывательных операций в тылу врага. Только британское подданство было подлинное: он его унаследовал от отца, выходца из Адена. Теперь, всего спустя два года после заключения договора о прекращении огня, в течение которых он успел превратиться в Лондоне в Джона Дарлинга,

он прибыл в Каир с очередным заданием: создать в Египте оперативную базу для разведывательной и диверсионной работы на случай возобновления военных действий.

Планировало эту операцию подразделение 131, созданное в дни Войны за Независимость при израильской военной разведке для действий в тылу врага и психологической войны. Подразделением командовал подполковник Мордехай Бен-Цур, до 1948 года агент "Хаганы" в Ираке, а затем командир батальона в палмаховской дивизии "Гарель". Он-то и поручил Аврааму Дару создание агентурной сети в Египте.

Интенсивную деятельность развила в те дни в Египте так называемая "Иммиграционная служба". Функции этой организации были примерно такими же, как функции Сохнута в свободных странах: помощь желающим выехать в Израиль и, конечно, сионистская пропаганда. Разница заключалась лишь в том, что действовать приходилось в стране, находившейся в состоянии войны с Израилем и строго преследовавшей всякую сионистскую деятельность. По прибытии в Египет Авраам Дар явился к руководителям этой организации — выдающееся место занимал среди них Шломо Гилель, нынешний министр полиции Израиля, — и изложил им свой план. Речь шла о том, чтобы мобилизовать среди сионистской молодежи надежных ребят, создать в крупнейших городах страны хорошо засекреченные явки, тайники для оружия, раций и так далее. Предполагалось, что все те, кто примет участие в этой подготовительной операции, постепенно покинут Египет, а на их место придут новые люди, хорошо обученные и совершенно не связанные с сионистскими кругами: они-то и будут действовать, когда возникнет необходимость. Дар даже намекнул на то, что они попытаются проникнуть в ряды "мусульманских братьев" для совместных с ними действий. Уже сам Дар предпринял первые шаги в этом направлении.

С помощью Иммиграционной службы Дару удалось мобилизовать с десятков молодых энтузиастов в Александрии и Каире. В обоих городах были сняты конспиративные квартиры, оборудованы тайники, и работа закипела. Правда, работа

эта заключалась всего лишь в изучении приемов конспирации и тайнописи, фото и радиодола, шифровки и изготовления простейших взрывчатых веществ. Связь же между группами, а также с "центром" (через парижский адрес) осуществляла израильская разведчица Викторин (Марсель) Ниньо.

В августе 1951 года Авраам Дар покинул Египет. После его отъезда четверо из подпольщиков выехали один за другим в Европу, оттуда в Израиль. Вступили в ряды Цахала, приняли присягу, прошли соответствующие военно-разведывательные курсы. Сами эти курсы служили, кстати, предметом крупных споров в штабе Цахала: если Игаль Ядин и Мордехай Маклеф, второй и третий начальники генерального штаба Цахала, были сторонниками тайной психологической войны в тылу врага, то среди высшего командования армии не было недостатка в ее противниках. И вот, вопреки первоначальным планам заменить ребят опытными и неизвестными в Египте людьми, эти несколько разведчиков довольно быстро вернулись в Египет. Обе группы, в Каире и Александрии, продолжали заниматься конспиративным сбором сведений из газет, этим их деятельность и ограничивалась. Когда, в начале 1952 года, в Каир прибыл профессиональный разведчик Макс Бент — у него были совершенно иные задания, он даже не вступил с ними в связь. Однако чтобы наладить перевод денежных средств, ему все же пришлось прибегнуть к услугам Марсель Ниньо, и он постарался поэтому удалить ее от остальных ребят, так что постепенно заглохла даже слабая связь между обеими группами.

СУЩНОСТЬ "АФЕРЫ"

Совокупность событий (отнюдь, кстати, еще не нашедших своего завершения), составляющих то, что на израильском политическом жаргоне принято называть "парашой" ("аферой"), разделяют обычно на четыре разных "дела".

1. "Гиблое дело" 1954 года, закончившееся провалом израильской агентурной сети в Египте. В результате — двое

были казнены, еще двое кончили самоубийством, а министру обороны Пинхасу Лавону пришлось уйти в отставку.

2. "Дело Лавона" (сентябрь 1960 — февраль 1961), в результате которого с бывшего министра обороны было снято обвинение в том, что именно он отдал распоряжение действовать в 1954 году. "Дело Лавона" приняло в то время форму резкого конфликта между Бен-Гурионом и Лавоном, чью сторону приняла тогда почти вся страна. Тем не менее Лавону все-таки пришлось уйти с занимаемого им поста генерального секретаря Гистадрута.

3. Конфликт между Бен-Гурионом и Эшколем, начавшийся сразу после реабилитации Лавона, вызвавший целый ряд правительственных кризисов, раскол в правящей партии Мапай и окончательную отставку Бен-Гуриона.

4. Дело каирских узников, возникшее после посвященной им телепередачи 14-го марта 1975 года. Это дело еще только назревает, но уже сегодня стоит в центре внимания общественного мнения. Помимо глубокого сочувствия, которое вызвала у всех слоев населения трагическая судьба этих людей — они 14 лет томилась в египетских тюрьмах, — тут примешивается и политическая окраска.

Похоже, что в новом свете представляется роль некоторых политических деятелей, занимающих и сегодня выдающееся положение в жизни страны, которых, однако, предыдущие этапы "аферы" заделали лишь слегка, тогда как не исключено, что именно они были главными действующими лицами на этой и по сей день весьма затемненной сцене.

Среди возможных определений демократического общества можно выбрать и такое: демократическим можно считать то общество, где личная жизнь гражданина сугубо секретна (поскольку он не нарушает законов или чьих-либо прав). Общественные же дела подлежат — даже должны подлежать — самой широкой огласке. Одним из самых острых симптомов кризиса, переживаемого демократией в наши дни, является все более прогрессирующая инверсия этого положения: анкеты, личные дела и всевозможные досье, регистрации, слежки и подслушивания до такой степени обнажают частную жизнь отдельного лица, что он, не сопро-

тивляясь, готов заполнять любую анкету, которую ему присылает на дом страховая компания, или муниципалитет, или какая-то инспекция, а то даже фирма, решившая провести "социологический опрос", чтобы определить влияние образовательного, скажем, уровня на спрос на махровые полотенца (я лично заполнил несколько лет тому назад такой опросный лист).

Параллельно с этим бесцеремонным вторжением в частную жизнь гражданина идет такое же бесцеремонное изъятие дел политических, партийных, военных, словом, касающихся всего общества из его поля зрения.

Как правило, граждане, сознавая свое бессилие, мирятся со всем этим, но наступают моменты, когда их смутная тревога вырывается наружу, и тогда нередко наступают ситуации, когда летят президенты, рушатся правительства, попадают за решетку и стреляются министры и советники, генералы и всевозможные спасители страны. "Гиблое дело" уже привело за двадцать два года к многим катаклизмам, но до конца истина так и не открыта и настоящее возмездие не постигло пока еще никого. Возможно, и не постигнет, но новую бурю оно вызовет всенепременно, и, похоже, первые вспышки ее уже видны на небосклоне.

"Гиблое дело" 1954 года. Сама по себе "операция", проведенная в июле 1954-го года, не заслуживает даже того, чтобы ее называли операцией. По приказу, полученному из Израиля, и под руководством Аври Элада, офицера разведывательной службы Израиля, специально приехавшего в Египет под маской западногерманского дельца Пауля Франка, горстка молодых людей пыталась примитивнейшими средствами поджечь сначала несколько почтовых ящиков в Александрии, затем не то справочные бюро, не то библиотеки американских дипломатических представительств в Александрии и в Каире и, наконец, несколько кинотеатров в тех же городах. Причиненный вред был ничтожен. Сумятицы эти действия не вызвали почти никакой, но во время последней операции, запланированной на 23 июля, день годовщины египетской революции, случайно вспыхнул заряд в кармане одного из "диверсантов". Его схватили, за ним и всех осталь-

ных — всего было арестовано 13 человек — и в декабре судили.

В ходе следствия двое арестованных покончили с собой. Один из них вовсе даже и не был связан с группой. Он просто не выдержал пыток. Двое были приговорены судом к смертной казни, четверо к пожизненному заключению, трое — к семи годам, а двое были оправданы.

Ни глава израильского правительства, ни, по словам министра обороны Пинхаса Лавона, он сам, ни начальник генерального штаба Моше Даян, если верить его словам, ни вообще никто в правительстве ничего об этой операции заранее не знали. По чьей же все-таки инициативе был отдан приказ? Начальник военной разведки долго увиливал от ответа на этот вопрос. Три месяца спустя он впервые заявил официально, что получил устное распоряжение от министра обороны Лавона. Лавон решительно отрицал это. Была создана комиссия, в которую входили: член Верховного суда Олшан и бывший начальник генерального штаба Дори. Они заслушали свидетелей: самого Лавона, Даяна, начальника военной разведки Беньямина Джибли, начальника подразделения № 131 подполковника Мордехая Бен-Цура, генерального директора Министерства обороны Шимона Переса, казалось бы уж совершенно не причастного к этому делу, и даже самого Аври Элада, специально отозванного из Европы. Члены комиссии изучили имевшиеся документы и пришли к заключению, что на основе противоречивых свидетельских показаний и далеко не полных документальных данных не представлялось возможным решить недвусмысленно, кто именно отдал команду, приведшую к столь трагическим последствиям.

В середине февраля Лавону пришлось уйти в отставку, министром обороны снова стал Бен-Гурион, а год спустя и Лавон занял высокий пост генерального секретаря Гистадрута.

“Дело Лавона”. Шесть лет Пинхас Лавон исподволь собирал материалы, которые явились бы доказательством, что команда исходила не от него. В 1959 году в глубочайшей секретности состоялся суд над Аври Эладом, арестованным

еще в 1957 году по обвинению в измене (он вступил в преступную связь с египетскими разведчиками).

В ходе следствия он показал, что он дал комиссии Олшан—Дори ложные показания, и не по собственной инициативе, а по наущению своих боссов из разведки Джибли и Бен-Цура. Под их давлением он подделывал документы, подтачивал факты и так далее.

Пинхас Сапир каким-то образом узнал об этом и сообщил Лавону. Лавон представил доказательства своей невиновности главе правительства Бен-Гуриону и потребовал официальной реабилитации. Бен-Гурион сам реабилитировать отказался: “в моих глазах ты ни в чем не виноват”, но в ответ на упорные требования Лавона назначил комиссию, так называемую “комиссию Когена”, которой и предстояло решить: допускались ли подлоги и лжесвидетельства. “Комиссия Когена” вынесла решение, что, пожалуй, все это имело место, но привлечь кого бы то ни было к суду нет оснований, во-первых, за давностью происшедшего, а во-вторых, потому, что эти ложные показания давались не под присягой и не суду, а только комиссии. Лавон хотел вынести свое дело в партию для разбирательства, но ни Бен-Гурион, ни Йосеф Алмоги, тогдашний секретарь Мапая, не считали возможным, чтобы партия занималась такими делами. Лавон решил передать дело в комиссию Кнесета по иностранным делам и обороне. Тогда-то и разразилась буря, так как мало-помалу подробности дела просочились наружу. Четыре месяца страну лихорадило, как никогда ни до, ни после этого. В декабре новая комиссия в составе семи министров рассмотрела еще раз все материалы дела и единогласно постановила, что “команду отдал не Лавон”. Однако уже тем, что он вынес свое дело из партийных в иные инстанции, Лавон нарушил, по мнению товарищей по партии, первую (хоть, может быть, и негласную) заповедь — круговую поруку и единство партии. За это он понес наказание и был снят с поста генерального секретаря Гистадрута. Подал в отставку и Бен-Гурион, но его все-таки уговорили, и он вернулся в правительство.

Конфликт Бен-Гурион — Леви Эшколь. Бен-Гурион не

успокоился на этом. Он упорно требовал "судебного разбирательства". Партия наотрез отказывалась вынести еще раз весь этот сор из избы, тем более что Бен-Гурион требовал не столько судебного разбирательства самого дела, сколько законности действий "комиссии семи министров", по его мнению, не имевшей права реабилитировать Лавона. Его отношения с Леви Эшколем, Голдой Меир, Моше Шаретом, Залманом Араном, Пинхасом Сапиром все более обострялись, и в 1963 году он снова подал в отставку, на этот раз чтобы уже никогда не вернуться. Года два спустя произошел раскол в Мапае, возникла партия "Рафи", в которой помимо Бен-Гуриона ведущее место заняли Даян, Перес и Алмоги.

Дело каирских узников. За всеми этими распрями совершенно забыли о самих узниках в Каире. Только в марте 1975 года стало известно, что они уже в Израиле, причем не месяц и не два, а с самого 1968 года. Почему же их не встретили так, как в Израиле принято встречать людей, возвращающихся из плена? Почему их не обменяли после Синайской кампании? Почему ничего не делалось до 1968 года? Почему им не дают написать что-нибудь о пережитом? (Теперь эта книга наконец написана. Буквально на этих днях вышла из печати книга Авиэзера Голана "Операция Сюзанна".) И вообще кто все-таки виновен во всем этом деле? Ответы на эти вопросы требуют не только четверо бывших узников, отсидевших 14 лет в египетских застенках неизвестно за что, но и вся израильская общественность, совершенно сбита с толку из-за строгой секретности, в которую было облечено это дело еще 22 года тому назад и которую строжайше соблюдали чуть ли не до самого последнего времени. Для того чтобы читатель получил представление о том, как писалось об этом деле еще совсем недавно, приведем небольшой отрывок из книги Дана Горовица и Элиягу Хасина "Афера":

"Как выяснилось из заключений "Комиссии министров", преданных гласности, "Гиблое дело" представляло собой не одну, а несколько операций. Эти операции (они начались в определенный день, который мы будем называть днем "икс") закончились через некоторое время (мы будем называть этот день днем "игрек") полным

провалом... По мере того как обнаруживалась истина, стало ясно, что за месяц до дня "икс" командир одного из самых секретных подразделений армии — в дальнейшем мы будем называть его "Офицером запаса" — выехал, чтобы встретиться с лицом, которое мы назовем "Третьим человеком". В ходе этой встречи "Офицер запаса", по поручению "Высшего офицера", возложил на "Третьего человека" задание, которое получило в дальнейшем название "Гиблого дела"...

Не удивительно поэтому, что сколько об "афере" ни писали, для подавляющего большинства населения она, что называется, темный лес. Одно лишь очевидно: ничего хорошего "афера" Израилю не принесла, и поэтому лучше всего ее не ворошить. Это, однако, весьма ошибочное мнение. Несмотря на незначительный, казалось бы, характер дела, "афера" наложила отпечаток почти на всю историю государства Израиль. По-видимому, заложено в ней нечто такое, что и по сей день отравляет жизнь общества, лихорадит, если угодно, его совесть. Отраву эту легко можно было бы вычистить еще 22 года тому назад. Ее не вычистили, а загнали внутрь.

Можно, конечно, сказать, что нынешний Израиль — совершенно новый государственный организм, что отравы теперь уже действовать не может, так что пусть ее лежит себе на дне. Вряд ли это так. Сколько первоклассным вином цистерны ни наполнять, а если на дне появилась плесень, вино непременно скиснет, поэтому все, все до основания, что так или иначе связано с "аферой", должно быть предано гласности. Не существует интереса, ни государственного, ни идеологического, коим можно оправдать сокрытие истины. Нужно раз и навсегда очистить цистерну, тем более что у плесени есть опаснейшее свойство — расти...

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЧВА

Чтобы лучше представить колорит времени, обратимся к календарю важнейших событий тех дней. Итак 23.7.1952 — переворот в Египте. Ниспровержение короля; январь 1953 — в Белый Дом въезжает новый президент США Дуайт Эйзенхауэр; 13.5. — 17.5.1953 — визит государственного секретаря Даллеса в Израиль. Требуется не переводить Министерство иностранных дел в Иерусалим; 18.5.1953. — Эйзенхауэр: "Приложим все усилия для установления мира на Ближнем Востоке"; 2.6.1953 — Даллес предлагает укрепление Арабской лиги, статус международного города для Иерусалима, возврат части Галилеи арабам; 15.7.1953 — Давид Бен-Гурион, глава израильского правительства, уходит в продолжительный отпуск. Будет работать в Сде-Бокер над трехлетним планом обороны страны; 19.7.1953 — Заместитель государственного секретаря США Бейрод: "Арабам нужно дать гораздо больше оружия, чем Израилю"; 15.10.1953 — операция Цахала против трех иорданских сел ("Резня в Кибии", как окрестил эту операцию нью-йоркский еженедельник "Тайм"); 6.12.1953 — Моше Даян становится начальником генерального штаба Цахала; 7.12.1953 — Бен-Гурион окончательно подает в отставку; 25.1.1954 — Кнесет утверждает новое правительство. Премьер-министр и министр иностранных дел — Моше Шарет, министр обороны — Пинхас Лавон. Генеральный директор Министерства обороны — Шимон Перес...

С первых же дней после перемирия с арабскими странами в 1949 году и декларации трех держав 1950 года в стране выявилось, по существу, два подхода к вопросу обеспечения безопасности Израиля. Давид Бен-Гурион, совмещавший до 1953 года функции главы правительства и министра обороны, считал, что безопасность страны может быть обеспечена отнюдь не гарантиями ООН или великих держав, а только военной мощью самого Израиля, способностью ответить ударом на удар, тогда как министр иностранных дел Моше

Шарет явно предпочитал дипломатические пути достижения мира.

Ни один из этих двух подходов так и не одержал верх. В Израиле ведь еще ни разу не было однопартийного правительства, которое могло бы проводить четкую политическую линию, а всегда были правительства коалиционные, вынужденные лавировать, маневрировать, откладывать решения и идти на компромиссы. Так было и теперь.

Переворот в Египте, а главное, решимость Эйзенхауэра завоевать во что бы то ни стало симпатии арабского мира и в первую очередь Египта (главным образом путем поставки оружия) склонили чашу весов в правительстве и в правящей партии Мапай на сторону "голубей" (если пользоваться сегодняшней терминологией), то есть к линии Моше Шарета. Это и была, по-видимому, основная причина того, что Бен-Гурион подал в отставку в 1953 году.

Но с его уходом в правительстве создались очень напряженные отношения. С одной стороны, глава правительства и министр иностранных дел Моше Шарет, ориентировавшийся на мировое общественное мнение, неумолимо вел переговоры с Вашингтоном, Лондоном, Парижем и Москвой. И в то же время он поддерживал тайные контакты с новыми правителями Египта (не случайно "мусульманские братья", смертельные враги военной правящей клики Египта, постоянно обвиняли сначала Нагиба, затем Насера в том, что они продают и предают святое арабское дело и интересы палестинцев, встречаются тайно с "сионистами" в Акабе или в Эйлате).

Достигнута была даже договоренность о том, что сам Игаль Ядин отправится в Каир — инкогнито, разумеется, — для личных переговоров с Насером.

С другой же стороны, Пинхас Лавон, человек не военный и известный своей "покладистостью", оказавшись на посту министра обороны, стал придерживаться даже более решительной линии, чем сам Бен-Гурион. Еще большим "ястребом" был его генеральный директор Шимон Перес, исполнявший при Бен-Гурионе обязанности генерального директора,

но фактически облеченный властью чуть ли не министра и по-прежнему видевший в Бен-Гурионе своего истинного наставника и кумира; и, наконец, новый, честолюбивый начальник генерального штаба Моше Даян — один из главных проводников политики ответных ударов, будущий "герой Синайской кампании", смутные планы которой он вынашивал, по-видимому, уже тогда. И у Переса, и у Даяна очень скоро возникли трения с новым министром обороны, сугубо "штатским" человеком, который тем не менее "лез во все дырки".

В те годы Даян считал, что функции министра обороны сводятся практически к тому, чтобы представлять армию и ее интересы в правительстве и Кнесете, давать изредка общие политические указания, зато активно участвовать в общественной и партийной жизни. Став сам министром обороны, Даян, как известно, занял диаметрально противоположную позицию.

В демократическом Израиле общество особенно болезненно реагирует на попытки иных военных деятелей занимать государственные посты. Даян же, будучи военным, как и некоторые его коллеги по армии, яростно стремился к политическому влиянию. Вот что писал Моше Шарет в своем дневнике, опубликованном летом 1974 года в газете "Маарив":

"Начальник штаба (Даян) обратился к Арье Бахиру и предложил ему создать нечто вроде союза, в который вступит он сам, молодежь из мошавов и кибуцов Мапая, для "смены руководства" в партии, Гистадруте и правительстве. Не больше и не меньше!"

Став штатским политическим деятелем, Даян столь же неукротимо стремился к влиянию военному. Из отрывочных высказываний Давида Элязара ("Дадо"), начальника генерального штаба в дни войны Судного дня, стало очевидно, что Даян практически не только лишил его самого возможности входить в контакты с кем бы то ни было в правительстве иначе как через него, Даяна, но то и дело вмешивался в оперативные дела армии, пытаясь играть роль некоего

"генералиссимуса", которому генеральный штаб и его начальник подчиняются и оперативно.

Однако в 1954 году, когда он занимал еще только высшую военную должность начальника генерального штаба, он не допускал, чтобы министр обороны контактировал с кем бы то ни было из военных — хотя бы и в целях информации — иначе чем по "общепринятым каналам", то есть через него же.

Другим камнем преткновения в отношениях между Лавоном, с одной стороны, Даяном и Пересом — с другой — был вопрос о переориентации в деле приобретения оружия с Америки на европейские страны — в основном на Францию, а потом и на ФРГ. Хотя Лавон и не возражал принципиально против поисков новых источников вооружения (США действительно задерживали жизненно важные для Израиля поставки, то и дело используя их в целях политического нажима), он, однако, действовал не так решительно, как хотелось бы Пересу, одному из инициаторов этой переориентации, и Даяну. Когда он слишком, на их взгляд, затянул одну такую сделку — речь шла о французских танках, по мнению специалистов, далеко не лучших, — Даян даже подал заявление об отставке.

Наконец, необходимо указать еще на один факт, сыгравший роковую роль в "афере". Речь идет о назначении Даяном нового начальника разведывательной службы Цахала. Им теперь становится полковник Беньямин Джибли, "Высший офицер" — по таинственной терминологии "аферы", используемой вплоть до начала семидесятых годов, всякий раз когда речь заходила об этом сугубо секретном деле. Это было, собственно, не столько новым назначением, сколько возвращением на прежнюю должность. Лавон был от него отнюдь не в восторге. Возможно, он слышал о его неприглядной роли в некоем деле инженера-капитана Тубианского, арестованного по доносу Джибли в осажденном Иерусалиме. Тубианский был облыжно обвинен в измене и приговорен полевым судом, в состав которого входил и сам Беньямин Джибли, к расстрелу. Впоследствии Давид Бен-Гурион реабилитировал посмертно Тубианского, даже повысил в чине. Возможно, на министра повлияло неприязненное отношение

к Джибли со стороны Иошафата Гаркави ("Пати"), возглавлявшего до декабря 1953 года военную разведку. Как бы то ни было, Лавон сопротивлялся этому назначению, и всё же Даяну удалось уговорить его и настоять на своем.

Вот вкратце некоторые черты действительности тех дней и атмосферы, господствовавшей в верхушке.

28.7.1954 года. Все газеты приводят на самом незаметном месте и петитом следующее сообщение:

"Как сообщило вчера Министерство внутренних дел Египта, арестовано три еврея по обвинению в поджоге библиотек американских дипломатических представительств в Каире и Александрии. Фамилии арестованных — Филипп Герман, Виктор Леви и Роберт Даса. Все трое жители Александрии. По словам властей, арестованные были известны своей сионистской деятельностью".

"Гаарец", 26.7.1954:

"Как сообщила радиостанция "Ближний Восток", полиция задержала в Александрии трех евреев, у которых нашли зажигательные вещества, похожие на те, что нашли при поджоге двух американских учреждений.

В пятницу арестован еще один еврей по обвинению в том, что он подложил бомбу в одном из кинотеатров Александрии. Бомба была обезврежена за несколько минут до взрыва".

А теперь, забегая на 22 года вперед, приведем еще несколько цитат:

"Решено было провести первую операцию в здании почты в пятницу 2-го июля 1954 года; пятница, как известно, выходной день у мусульман".

(Авиэзер Голан: "Операция Сюзанна". Полный отчет жертв "аферы", Иерусалим, 1976. Стр. 69)

"Вторая операция (в библиотеках американских дипломатических представительств) была назначена на 14 июля".

(Там же, стр. 69)

"Первое июля выдалось жаркое... В условленный час Леви радировал опознавательный сигнал, а после небольшой паузы — и зашифрованное сообщение... Длина волны и частота были установлены заблаговременно. Теперь мы ждали ответа с "базы"... Леви поймал

только конец передачи, но этого было достаточно. Связь была установлена. Мы получили зеленую улицу для проведения операции".

(Аври Элад: "Третий человек". Из газеты "Гаарец" от 9.8.1976)

И уж коль мы забежали так далеко вперед, то приведем для сравнения выдержку из мемуаров начальника генерального штаба тех дней:

"Во второй половине июля (я был как раз с визитом в США) подразделению был отдан приказ действовать. Вся эта история и все связанное с ней стали известны впоследствии под названием "Гиблое дело".

(*"Мемуары Моше Даяна"*, Из газеты "Едиот Ахронот" от 6.9.1976)

Мы еще вернемся к этим датам и фактам, а пока полистаем дальше газеты за вторую половину 1954 года.

В дни еврейского Нового года, 28.9.1954, египетские власти задерживают израильский пароход "Бат-Галим", следовавший из Эритреи в Хайфу через Суэцкий канал, и подвергают аресту команду, состоявшую помимо капитана из девяти моряков. Это была первая попытка судна, шедшего под израильским флагом, проплыть через Суэцкий канал, и конечно же она не удалась. Но ведь "ястребам" именно это и требовалось доказать: все международные конвенции, резолюции ООН, декларации и обещания великих держав не стоят выеденного яйца. И сколь бы "новый Египет" ни был революционен, как бы его великие державы ни увещевали, а о том, чтобы пропустить по каналу израильское судно, по-прежнему не может быть и речи.

И несколько недель спустя — не в пример "Гиблому делу", эта операция была тотчас рассекречена, еще даже до освобождения команды из египетского плена в конце декабря того же года. Израильская пароходная компания "Посейдон" специально приобрела в Пуэрто-Рико это судно (его пуэрториканское название было: "Прима"), курсировавшее уже давно по Суэцкому каналу, и, когда

оно прибыло в конце августа в Эритрею, туда же вылетел экипаж добровольцев, набранных в Хайфе и согласившихся пойти на риск, чтобы разоблачить истинные намерения Египта, а заодно лицемерие западных держав.

Египетские власти попытались обвинить израильскую команду в том, что она, дескать, обстреляла мирных рыбаков, но впоследствии им пришлось снять это вздорное обвинение. Экипаж вел себя в египетской тюрьме с исключительным мужеством — правда, моряки с самого начала находились в центре внимания мировой общественности, так что руки у египетских властей были в какой-то мере связаны. Израильское правительство обратилось даже с жалобой в ООН. И хотя ни США, ни тем более СССР не согласились провести в Совете Безопасности резолюцию, которая обязала бы Египет предоставить свободу судоходства по каналу израильским кораблям, но моряков все-таки освободили и вернули.

Эта операция с самого начала не вызвала ни малейших расхождений в общественном мнении страны — разве что с коммунистами. И хотя всем было ясно, что готовилась она, конечно, не одной лишь пароходной компанией "Посейдон", однако никому и в голову не приходило задаться вопросом: "Кто отдал команду?" — как впоследствии в "Гиблом деле". Между тем и эта операция не только завершилась провалом и арестом десяти моряков, но провал этот, судя по всему, был как бы заранее принят в расчет.

Но вот шестого октября, всего спустя несколько дней после задержания "Бат-Галим", все израильские газеты подробно и под крупными заголовками публикуют сообщение министра внутренних дел Египта, Захария Мухи эд-Дина, специально переданное по каирскому радио.

Цитируем газету "Маарив".

"Каир: Раскрыта израильская шпионская сеть. ... Цели шпионской организации:

Оказание материальной помощи задержанным в Египет израильским агентам; установление и поддержание радиосвязи с Израилем в дни чрезвычайного положения и войны; сбор военной, политической и экономической информации о Египте; устройство беспорядков в под-

ходящий момент, чтобы внести сумятицу и вредить Египту на международной арене;

... Далее Мухи эд-Дин сказал, что, когда подошел срок подписания британско-египетского соглашения об эвакуации англичан из зоны Суэцкого канала, агентурной сети был отдан приказ действовать, чтобы доказать шаткость внутреннего положения Египта, испортить американо-египетские отношения и сорвать подписание соглашения.

Мухи эд-Дин сказал также, что израильские агенты подложили 14-го июля зажигательные бомбы в секретариате американского посольства в Каире, а также в справочном бюро; 23-го июля такие же бомбы были подложены в кинотеатрах Каира и Александрии. По словам Мухи эд-Дина, один из этих зарядов, брошенный евреем Филлипом Натансоном, взорвался у каирского кинотеатра "Рио" и ранил его самого. В результате следствия удалось задержать всю шпионскую сеть. По словам Мухи эд-Дина, члены организации прошли соответствующую подготовку в Израиле, где их специально обучали военному делу и радиоделу, фотографии и картографии.

... Из каирских источников стало известно, что месяц тому назад был задержан высокий офицер израильской разведки, руководивший шпионской сетью".

Итак, нарыв прорвался. Правда, израильская печать пытается — вполне искренне, надо думать, — выставить все дело как очередную египетскую провокацию, призванную прикрыть внутренние трудности Египта, но в стране — а также среди мирового еврейства — нарастает тревога за судьбу арестованных.

6-го декабря все газеты публикуют портрет 24-летней Викторин Ниньо, пытавшейся покончить с собой в тюрьме. Сообщается также, что, согласно египетским газетам, один из ее соседей все-таки покончил с собой, когда узнал о ее аресте.

Начиная с десятого декабря и вплоть до 31-го января 1955 года, когда был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Моше Марзоку и Шмуэлю Азару, с полос израильских газет не сходят подробнейшие отчеты о ходе процесса, начавшегося 11 декабря.

21-го декабря появилось сообщение о том, что Макс Бент, израильский разведчик, приехавший в Каир еще в марте

1953 года, не выдержал пыток и вскрыл себе вены в тюрьме.*

Страшные это были дни — в первую очередь, конечно, для подсудимых, — но и для главы правительства, а также, по ряду причин, для министра обороны Пинхаса Лавона, сказавшего как-то Ионе Кесе, одному из тогдашних лидеров Мапая, что если бы у него не было доказательств того, что лично он тут ни при чем, то он покончил бы с собой (Дневник Шарета). Вот как описывает Моше Шарет свое состояние в первые минуты после вынесения приговора "каирским узникам":

...Я взглянул на нее (секретаршу) и сразу увидел, что произошло что-то ужасное. Точно такое же у нее было выражение лица, когда она сообщила мне о кончине моей матери. Она сказала: "Вынесен приговор...— И после небольшой паузы: —Двое приговорены к смерти". Я был потрясен... Но тут же овладел собой... Еще не все потеряно. Кто знает? Я тут же радировал в Вашингтон, просил, чтобы похлопотали у президента. Радировал Элиягу Сасону (послу Израиля в Риме), чтобы узнать, что же теперь говорит тот египетский дипломат, который уверял все время, что не будет смертных приговоров...

... Получил записку от Исара Гарэля: что же теперь будет со встречей в Каире (встреча между Игалем Ядином и Насером)? Я ответил, что об этом не может теперь быть и речи. Не станем же мы вести переговоры под тенью виселицы! Если его люди в Вашингтоне в состоянии помочь, тогда, конечно, другое дело...

... Встал под тяжкой тучей приведения приговора в исполнение, назначенного на сегодня. Неотступно думал сокрушенно о судьбе этих двух еврейских парней в каирской тюрьме, отданных в руки палачей ни за что — буквально ни за что. Что они испытывают в этот час, готовясь в своем одиночестве встретиться лицом к лицу со смертью?.."

(Дневник Шарета, "Маарив", июнь 1974)

* Не так давно вышла книга египетского разведчика в Израиле "Сюрприз", в которой утверждается, что никакого самоубийства Макс Бент не совершил, а сослужил добрую службу египетской разведке. Все это вздор: немецкий и французский врачи вскрыли труп Бента и официально подтвердили, что он кончил самоубийством.

Итак, 27 января 1955 года каирский военный трибунал под председательством генерала Дигви — впоследствии он был назначен губернатором Газы и попал в израильский плен в ходе Синайской кампании — приговорил Моше Марзока и Шмуэля Азара к смерти; Виктора Леви, Филиппа Натансона, Роберта Даса и Викторин Ниньо — к пожизненному заключению; еще трое получили по семь лет, а двое за недостаточностью улик — оправданы. Несмотря на лихорадочные усилия израильского правительства спасти приговоренных к смерти (Шарет даже написал личную просьбу Насеру), приговор был приведен в исполнение 3-го января.

Взаимоотношения с Египтом были испорчены очень надолго, и уже в феврале последовал мощный удар по египетским военным складам в Газе. На этом для израильского обывателя кончилось это трагическое дело, еще не успевшее получить на этом этапе роковое название "Гиблое дело".

Правда, в середине февраля Пинхас Лавон подал в отставку, ходили слухи о какой-то комиссии. Пост министра обороны снова занял Давид Бен-Гурион, и дела пошли своим чередом. Постепенно все дело забылось. Была предана забвению и трагичная судьба узников, пока мы их не увидели вдруг на экранах телевизора в марте прошлого года. Однако злополучная эта "афера" лишь тлела под пеплом. В конце 1960 года она вспыхнула с удесyатеренной силой, приведя к падению ряда правительств в Израиле, к расколу партии Мапай, к нескончаемым новым разбирательствам. Похоже, что в ближайшем будущем нам предстоит стать свидетелями еще одного рецидива этого дела. Пора поэтому приступить к тому, что составляет истинную сущность "аферы". Но для этого нам придется заглянуть глубоко за кулисы израильской политики.

ЗА КУЛИСАМИ

Мы помним, что, когда в печати появились первые сообщения о провале в Каире, начальника генерального штаба в стра-



На снимке Моше Даян и Пинхас Лавон



Свадьба Викторин Нињо

не не было. Точно, не было. На этом основании, но не только на этом, первая комиссия, расследовавшая дело, так называемая комиссия "Олшан—Дори", назначенная главой правительства (о ней шла речь впереди), сочла его совершенно к этому делу непричастным.

И то, о чем пойдет речь дальше, ни в коем случае не является обвинением. В этой истории меня интересуют лишь факты, истолковывать которые я предоставляю самому читателю.

Итак, стоит присмотреться повнимательнее к обстоятельствам, предшествовавшим и сопутствовавшим визиту начальника генерального штаба в Америку.

"Маарив" от 11.7.1954:

"Начальник генерального штаба Моше Даян вылетел сегодня в США для ознакомления с военными объектами американских сухопутных сил, морского и военно-воздушного флота, по приглашению правительства США. За несколько минут до отлета машины "Эл-Ал" на самолете итальянской авиакомпании прилетел генеральный директор Министерства обороны Шимон Перес, который вернулся после официального визита в США. Начальник генштаба и Перес сразу уединились в кабинете начальника аэропорта, и, как стало известно, Шимон Перес коротко доложил начальнику штаба Даяну о результатах его визита в США и передал также подробности о последних приготовлениях в честь Даяна".

Какие же это были "последние приготовления", о которых генеральный директор Министерства обороны счел нужным экстренно доложить начальнику генерального штаба прямо тут же, в аэропорту, без предварительного доклада своему непосредственному начальнику Лавону?

"Маарив" от 16. 7. Крупный заголовок: **"ИЗРАИЛЬ ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ОСКОРБИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДАЯНУ"**

"Правительство Израиля хочет оплатить правительству США также стоимость ночевки начальника генерального штаба Моше Даяна на военных базах, которые он посетит. Об этом было сообщено американским властям в ответ на сообщение правительства США, что правительству Израиля придется принять на себя расходы по поездке начальника штаба Моше Даяна по США. Стоимость одной ночевки на американском военном объекте составляет два с половиной доллара... Сообщение правительства США о необходимости покрытия расходов было получено уже после прибытия начальника штаба в США.

Американцы сообщили одновременно, что начальнику генерального штаба придется летать на гражданских пассажирских самолетах..."

Ничего себе "официальное приглашение", ничего себе "последние приготовления", не так ли? Общественность Израиля, разумеется, вправе была обидеться. Нужно было срочно поправить как-то положение. И поправили.

"Маарив" от 26. 7. Аршинный заголовок: **"ДАЯН ПРИГЛАШЕН С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ВО ФРАНЦИЮ"**.

"Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Даян отправится с официальным визитом во Францию в первой половине августа. Как стало известно, генерал Даян приглашен правительством Франции (разрядка моя: М.Л.) в качестве официального гостя. Приглашение передано через французское посольство в Вашингтоне уже после прибытия начальника штаба в столицу США".

Восьмого августа Даян вылетает в Париж. Пикантная подробность:

"Маарив" от 8. 8:

"Полковник Рабин, начальник инструкторского отдела, и подполковник Пелед — из свиты начальника генерального штаба остались в США для посещения объектов военно-морского флота, а также лагерей канадской армии".

"Маарив" от 9. 8.

"Правительство разрешило начальнику генерального штаба Даяну получить орден "Почетного легиона".

"Маарив" от 19. 8.

"Начальник генерального штаба вернулся из своего путешествия. Отзывается положительно о своем посещении США. Подчеркивает огромное значение французо-израильской дружбы.

... Среди официальных лиц, встретивших начальника штаба, были: министр обороны Пинхас Лавон, генерал Авидар, высшие офицеры, а также военные атташе США и Франции... Отвечая на вопросы, начальник генерального штаба отверг слухи, будто он вел в Париже переговоры о заключении оборонительного союза между Францией и Израилем. Что же касается различий между двумя визитами, то генерал

Даян сказал, что во Францию он поехал по приглашению начальника французского генерального штаба (разрядка моя: М.Л.), тогда как к США мы обратились сами, и они только предоставили нам возможность приехать и знакомиться...".

"Маарив" от 20.8. Из статьи д-ра Азриэля Карлебаха (главного редактора газеты "Маарив") **"ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА"**.

"...Если бы начальник генштаба знал в день своего отъезда то, что он знал вчера, в день возвращения... Если бы он знал тогда, пять недель назад, когда он при всех регалиях простился с нами и ринулся с официальным визитом в Соединенные Штаты, что не успеет он спуститься с самолета, как его тут же примут с... резко оттопыренными локтями... и вместо того чтобы сказать ему "Добро пожаловать", скажут во всеуслышание "Вход только по приглашительным билетам", а у него билета-то вроде и нет... А пока он там сидит в государственном департаменте и обменивается любезностями, из двери выскальзывает один из чиновников, который, казалось бы, обязан выказать ему почтение, но на самом деле готовит ему стыд и позор... И этот самый чиновник обращается к корреспондентам, собравшимся в передней, и вместо того чтобы передать им, что американское правительство заинтересовано в том, чтобы пресса дружелюбно отнеслась к гостю издалека, говорит им, что правительство США заинтересовано как раз в обратном... И подчеркивает, да так, чтобы слышали все, что начальнику генштаба израильской армии не будет предоставлен военный самолет... И пусть никто не думает, что ему будут оказаны почести, на которые вправе рассчитывать официальные гости американских вооруженных сил... Если бы он знал заранее, что его представят американскому общественному мнению как непрошеного гостя... и если бы он знал заранее, какое тяжелое впечатление все это произведет на родине... — Что ж, он и тогда поехал бы?"

Со свойственной ему скромностью начальник генерального штаба ответил, что да, поехал бы и тогда: он, мол, готов проглотить и оскорбления, лишь бы как можно эффективнее управлять вверенными ему вооруженными силами. Разве ж такая готовность не достойна восхищения?

Длинными этими цитатами мы, однако, установили следующее:

Начальник генерального штаба был дома, когда был отдан приказ действовать в Египте. Позор, продемонстрированный Моше Даяну американцами в США, заставляет сомневаться —

не ворвался ли он туда вопреки ясному отказу правительства США пригласить его?

Не об этом ли отказе доложил ему в кабинете начальника аэропорта только что прилетевший из США генеральный директор Министерства обороны? И вообще, не затем ли Перес и полетел в США, чтобы выбить это несостоявшееся приглашение? Не затем ли начальник генерального штаба все-таки полетел за океан, рискуя позором, чтобы не быть дома 17 июля, когда, как это точно установлено, из штаба что-то все-таки передали по радио в Каир? Пусть эта передача и была не нужна, так как операция началась по более раннему приказу уже второго июля, но на этой-то дате 17 июля и была потом построена вся "афера", ибо через несколько дней Беньямин Джибли направил Даяну в Вашингтон письмо, которое Даян тут же по получении уничтожил, что "приказ отдан". Впоследствии именно на копии этого письма были секретаршей Джибли дописаны задним числом слова "в соответствии с распоряжением Лавона", и похоже, что Даяну уже опять нужно было быть в Вашингтоне, когда это письмо туда прибудет.

Официальное приглашение в Париж, полученное не от правительства Франции, а всего лишь от французского коллеги Даяна, было передано ему французским посольством в Вашингтоне. Сейчас уже трудно сказать, кто выхлопотал эту сверхсрочную командировку Даяну во Францию, когда начальник генерального штаба находился в США, — или это был один из близких ему людей во французском генштабе, или (что кажется более вероятным) — Шимон Перес, инициатор переориентации на Францию, находящийся в весьма тесных отношениях с французскими военными кругами.

И наконец: когда анализируешь последовательность событий, разве не бросается в глаза ряд поразительных совпадений и несовпадений дат, связанных с этой злополучной операцией и не менее злополучным визитом начальника генерального штаба в США. И если бы речь шла не о таком авторитетном военном и политическом деятеле, как Даян, то у читателя вполне могла бы возникнуть мысль: а не было ли здесь некоей попытки поспешно скототить алиби?

БЕЛЫЕ ПЯТНА АФЕРЫ

Осенью 1952 года Авраам Дар, организовавший год с лишним назад подпольные ячейки в Каире и Александрии, отыскивает в Хайфе некоего Авраама Зайденберга, выходца из Вены, прекрасно владеющего немецким, бывшего майора, участвовавшего в Войне за Независимость, но выгнанного из-за каких-то неблагоприятных поступков (присвоение "трофейного" имущества; по версии самого Зайденберга, он всего лишь обменял свой холодильник на более новый, оставленный в Хайфе бежавшей арабской семьей). Авраам Дар представляет его своему начальнику Мордехаю Бен-Цуру, возглавлявшему подразделение по особым поручениям № 131. Кончается дело тем, что Зайденберг поступает на службу в военную разведку. По прохождении спецкурса он получает документ на имя Пауля Франка и отправляется в Цюрих. Там он становится компаньоном одной из автомобильных фирм и постепенно "превращается" в немца, уроженца Палестины и бывшего эсэсовца.

Уже в конце декабря он едет по поручению фирмы в Каир для налаживания деловых связей с египетскими фирмами. Немецкая колония в Каире, состоявшая преимущественно из действительно бывших эсэсовцев, принимает его с распростертыми объятиями, и вскоре он завоевывает столь прочное положение, что его принимает, по его словам, сам Насер, а Захария Мухи эд-Дин как-то даже предлагает ему поступить на службу в египетскую разведку. О ячейках в Каире и Александрии он пока ничего еще не знает.

Тем временем в генеральном штабе детально обсуждается работа спецподразделения № 131. О чем именно шла речь, в точности неизвестно, но Моше Даян посвятил как самому подразделению, так и состоявшемуся обсуждению два абзаца в своих мемуарах. Прочитав их:

"Это подразделение было создано в дни Войны за Независимость по инициативе Реувена Шилоаха, стоявшего тогда во главе Отдела по особым поручениям Министерства иностранных дел. Предназначалось подразделение для совершения актов диверсий в Египте в военное время. Контроль над ним осуществляли совместно: Реуен Шилоах —

от имени МИД и Мордехай Маклеф, начальник оперативного отдела штаба, ответственный также за разведку, — от имени ЦАХАЛа. В начале 1954 года (то есть уже при Даяне; М.Л.) подразделение стало чисто военным и подчинялось только военной разведке, без какого бы то ни было вмешательства гражданского министерства. Военную разведку возглавлял тогда Иошафат Гаркави, который замещал Беньямина Джибли, пока этот последний проходил за границей курс усовершенствования.

18-го февраля 1951 года вопрос о подразделении подвергся обсуждению на недельном заседании штаба у министра обороны. На повестке дня было несколько вопросов, среди них требование Исара Гареля, главы "Мосада"* , снова подчинить спецподразделение контролю двух министров — министра иностранных дел и министра обороны. Лавон воспротивился, и я его поддержал. По второму предложению — увеличить штат и бюджет подразделения — я энергично выступил против Лавона. Я считал, что это подразделение должно действовать только в военное время, а в мирное время его трогать не надо и никаких оперативных поручений на него возлагать не следует. Лавон, как сказано, придерживался другого мнения. А так как он требовал для себя права вызывать офицеров для доклада не в моем присутствии — зачастую и без моего ведома, — то я счел необходимым предостеречь "Пати" (Иошафата Гаркави) от неуместного стремления Лавона прибегать к этому подразделению".

("Мемуары Моше Даяна". "Едиот Ахронот" от 6.9.76.)

Похоже, что Даян тут снова спутал даты, если судить по почти всем имеющимся сведениям. Так, Дан Горовиц и Элиягу Хасин пишут:

"Спустя несколько недель после вступления Лавона на пост министра обороны (Лавон вступил на этот пост в день отставки Бен-Гуриона 7-го декабря 1953 года; М.Л.) ... во главе важнейшего секретного военного учреждения был поставлен — вернее, возвращен на прежний пост — "Высший офицер".**

Так что, в день 18 февраля, о котором вспоминает Даян, уже не Гаркави стоял во главе военной разведки, а Беньямин Джибли.

И если Даян и предостерегал кого-нибудь после совещания от 18 февраля 1954 года, то никак не "Пати".

* В те дни разведывательное управление при правительстве.

** "Афера", стр. 21.

Но вот в середине мая Аври Зайденберга срочно вызывают в Париж. Он прибывает туда в конце мая, и его встречает сам Мордехай Бен-Цур, начальник спецподразделения № 131. Предоставляем слово самому Зайденбергу:

"Израилю угрожает опасность, большая опасность, — сказал мне Мотке в Париже. — Политическое положение развивается в очень опасном для нас направлении... Ты представляешь, что будет, если англичане эвакуируют район канала?.. — Я выразил сомнение, в состоянии ли мы повлиять на ход событий.

... — Если мы вызовем сумятицу, но такую, чтобы в мировом общественном мнении создалось впечатление, что в Египте полнейший хаос, то этим самым мы дадим английскому парламенту повод отменить предстоящую эвакуацию и остаться. Нам нужно всего лишь убедить США в шаткости положения Насера..."

(Аври Элад "Третий человек", "Гаарец" от 6 августа 1976)

В дальнейшем кое-кто попытается представить дело так, будто Бен-Цур — с ведома начальника военной разведки Беньямина Джибли и, надо думать, также начальника генерального штаба, который нигде еще с визитом тогда не был, вызвал Зайденберга в Париж и поехал туда сам отнюдь не для вручения приказа: приступить к актам диверсии, а лишь для "общего инструктажа" и подготовки тех актов. Так или иначе, а в конце июня Зайденберг снова в Каире.

Сотрудники разведки, заблаговременно предупрежденные шифровкой, ждали его еще 18 июня, но он является к Филиппу Натансону лишь 28-го.

Первого июля они устанавливают связь по радио с центром, получают, как мы видели, зеленую улицу, и назавтра загораются два ящика в здании Александрийской почты.

14 июля делается попытка поджечь справочные бюро американских дипломатических учреждений в Каире и Александрии, а 23 июля при попытке поджечь кинотеатры в обоих городах в Каире получается осечка, а в Александрии заряд загорается, но... в кармане Натансона, и его задерживают раненого. Дальнейшее нам уже более или менее известно...

Главное, что поражает во всей этой истории, невероятное

"легкомыслие" решительно всего, что связано с этими "операциями". Безо всякой подготовки — да и когда же было готовиться, коли Зайденберг установил связь с ребятами 28-го июня, а всего лишь три дня спустя они уже приступили к операции! В руках у них любительские, самодельные материалы, не было даже детонаторов (Зайденберг обещал достать, но так и не достал), главное же — ни малейшей попытки предусмотреть какие бы то ни было меры на случай провала: не только не подготовили путей к бегству, если операция сорвется, не только ни у кого, кроме Зайденберга, не было паспорта, но даже и укрыться было негде. Так их и переловили одного за другим что называется голыми руками.

Как теперь стало известно из рассказов самих исполнителей, Зайденберг вел себя с самого начала в высшей степени неосторожно, что и заставляет думать, — не выдал ли он их сам врагу? Однако уже само планирование этих операций невольно наводит на такие же мысли, тем более если принять во внимание поразительное совпадение египетской официальной версии о целях этих диверсий с "общим инструктажем", якобы полученным Зайденбергом в Париже.

Что касается недоумения по поводу "странного" планирования операции, то хотя государству не было и шести лет отроду, однако опыта работы в тылу врага нашей разведке уже тогда было не занимать. И просто немыслимо поверить, чтобы без специальной "концепции" наша разведка действовала до такой невероятной степени халатно, неосторожно и глупо. Когда Бен-Гурион узнал о провале операции, он тут же записал в своем дневнике:

"А ведь должны были знать, что все провалится!"

О цели же, которую якобы преследовали эти операции, египетское обвинение утверждало на суде следующее:

"Группа пыталась вызвать в Египте сумятицу и беспорядки уничтожением при посредстве собственноручно изготовляемых взрывчатых веществ общественных зданий, а также поджогом справочных бюро американских дипломатических представительств в Каире и Александрии, ряда кинотеатров и других публичных мест".

("Операция Сюзанна", стр. 165)

Но вот что писала об этом же британская газета "Манчестер Гардиан" в дни судебного процесса:

"Разумеется, ничего невероятного нет в самом факте, что Израиль засылает агентов в арабские страны. Однако некоторые обстоятельства этого дела вызывают недоумение..."

... Евреев обвиняют в том, что они готовили поджоги и акты диверсий. Один из них даже признался, что они действительно пытались поджечь здание почты в Александрии, американские справочные бюро в Каире и Александрии, кинотеатры. Это признание нам представляется не слишком правдоподобным. Надо полагать, что еврейская агентурная сеть, если и действовала, то в этих действиях была бы хоть известная доля здравого смысла. Какую пользу мог Израиль извлечь из таких актов в такое время?"

(*"Манч. Гардиан"* от 22 ХП-54)

А вот что говорят бывшие каирские узники о цели операции:

"... В то время, сидя на скамье подсудимых, мы не понимали, почему государство не признает нас и не заступает за нас. Мы слышали от прокурора, что вся цель наших действий состояла в том, чтобы вызвать конфликт между Египтом и США. Но ведь это же была ложь! Мы сами придумали на следствии этот мотив, но это было еще тогда, когда мы выдавали себя за коммунистов... Мы, однако, не слышали, чтобы Израиль отрицал эту версию. Только годы спустя нам стало известно, что Израиль не отрицал этой версии потому, что не нашлось в Израиле человека, который принял бы на себя ответственность за наши действия и выдвинул бы другое объяснение. Все уваливали от ответственности, все торопились валить ответственность за приказ действовать друг на друга, а в итоге мы не только были лишены возможности защищаться, но и Израиль не мог отвести выдвинутые против него обвинения, что он, мол, вызывает конфликт между Египтом и США".

(*"Операция Сюзанна"*, стр. 167)

Не гораздо ли правдоподобнее другая версия, о которой говорили шепотом, правда, все годы, и вслух зашла речь лишь совсем недавно? Вот что пишет, например, еженедельник "Хотам" по этому поводу:

"Видимо, помимо версии, что операция в Каире планировалась

с целью испортить американо-египетские отношения, необходимо принять во внимание и другое соображение — что несомненно и сделали те, кто ее планировал, — а именно: что сеть провалится и попадетсЯ. Таким образом испортились бы отношения между Израилем и США. Ведь готовили операцию так скверно, даже не позаботились убрать следы и вывезти из страны Азара, Марзока и Ниньо... Ухудшение отношений между Израилем и США, подрыв усилий Шарета договориться с Насером — все это были последствия, которые легко можно было предвидеть в случае, если провалятся исполнители операции, так плохо подготовленной..."

Можно было предвидеть и то, что сваливание вины на Лавона, о чем позаботились ответственные за операцию, вызовет в стране растерянность и разброд и что все это вместе взятое усилит стремление вернуть спасителя из Сде-Бокера..." *

(*"Хотам"* от 10.9. 76)

Однако вернемся к роковым дням конца июля 1954 года.

Сам Аври Зайденберг остается после провала до 7-го августа в Каире как ни в чем не бывало. Никто из арестованных, правда, не знал, что он "Пауль Франк", но они ведь могли описать его довольно незаурядную внешность, его вместительный "Плимут"... Несмотря на все это, он не только остается в логове врага, но даже хлопочет о продаже машины, что далось ему, как он сам рассказал, отнюдь не просто: нужно было перекрасить ее предварительно, затем выхлопотать разрешение на продажу. Наконец он покончил и с этим делом, положил в карман несколько сот долларов, вырученных за машину, и купил билет на 7 августа. Не забыл он также захватить с собой пленки, на которых были засняты образцы ракет, выпуск которых налаживали в Египте немецкие ученые, а главное, маленькую рацию, которую он в случае чего должен был немедленно уничтожить (так как сама конструкция этой рации составляла военную тайну). Вот небольшой, но очень важный отрывок из его воспоминаний:

"Шестого августа утром мы взяли билеты и поехали в гостиницу "Гелиополис"... Ночью нервы меня чуть не подвели... Настало утро. Мы поехали в аэропорт... подошли к таможенному инспектору... Прошел!"

(*"Третий человек"*, газета "Гаарец", 13. 8. 76)

*Имеется в виду Бен-Гурион.

"Я провел в Европе бурную неделю, ошеломил нескольких людей (по сообщениям, просочившимся из Египта, люди эти были уверены, что меня схватили), и тогда пришел приказ вылететь домой для доклада...

... В течение двух дней я сидел почти в совершенном одиночестве на квартире у Мотке (Мордехая Бен-Цура) и писал рапорт (кстати, этот рапорт потом каким-то таинственным образом исчез вместе с другими документами; М.Л.) ...

... Неделя, последовавшая за этим, выдалась очень трудной: пришлось все время курсировать между Тель-Авивом и Хайфой. Днем я проходил повторный курс на учебной базе военной разведки, а ночью — курс по подделке документов".

(*"Гаарец"* от 16.8. 76).

Ни глава правительства Моше Шарет, ни Пинхас Лавон, министр обороны, понятия не имели, что Зайденберг вернулся из Египта. Его, правда, тут же отправили обратно в Европу, но все-таки это произошло не раньше 25 августа. За неделю до этого, то есть 19 августа, вернулся начальник генерального штаба Моше Даян из-за границы. Было ли ему доложено, что непосредственный исполнитель в стране, неизвестно. Да ему и не до этого было. Не успел он вернуться, как первым долгом поехал, разумеется, в Сде-Бокер к Бен-Гуриону. По счастью, последний вел дневник. Поэтому запись того дня уже известна, и мы более или менее знаем, о чем говорилось во время этой встречи.

"(Моше) рассказал о странном распоряжении Пинхаса Лавона во время отсутствия его самого, касающемся операции в Египте, которая провалилась. А ведь должны были знать, что провалится. Преступное легкомыслие!" *

*Тетр.33, стр. 33: Цитируется по главам из книги Хагая Эшеда, написанной в 1963 году по личному заказу Давида Бен-Гуриона, но так и не увидевшей свет. По сообщению газеты "Едиот Ахронот" от 27.9.76., она выйдет из печати в ближайшее время. Выдержки из этой книги появились в газете "Гаарец" с 16 по 26 февраля 1965 года по личной просьбе Бен-Гуриона, как сказано в подзаголовке первой публикации.

И вот мы подошли к первому этапу превращения египетской трагедии в "Гиблое дело". Как мы видели, в личной беседе с Бен-Гурионом Даян впервые свалил вину на Лавона. Было брошено семя, из которого хоть и не сразу, зато тем пышнее, разрослась "афера" во всех ее уродливых ипотасках.

В те дни никому на свете, кроме Даяна, еще и на ум не приходила мысль, что помимо министерской ответственности (как министр обороны, Лавон был, разумеется, ответствен за все, что происходило в его Министерстве и в армии) Лавон несет еще и личную ответственность за неминуемый провал этой несчастной операции. Официально отвечал, конечно, и начальник генерального штаба, но ведь делу, по его версии, был дан ход "в его отсутствии", не зря же он не раз жаловался, что Лавон требовал для себя права сослаться с высшим командованием "не в присутствии" начальника генштаба, а то даже без его ведома. Сослаться на полное неведение он, правда, не мог, так как через несколько дней после 17 июля, дня, когда из штаба ежедневно передавались в Египет шифрованные радиоприказы "Продолжайте действовать!", он получил от Бенямина Джибли письмо, вводящее его в курс дела, которое он — "в целях конспирации" — тут же уничтожил. Вряд ли кто собирался подвергнуть Даяна обыску в США, а тем более во Франции и на родине, но все-таки такие документы лучше уничтожить сразу. Беда, однако, не в этом, а в том, что он начисто забыл содержание этого, надо полагать, не слишком пространныго сообщения. Когда уже впоследствии на копии письма Далией Кармель, секретаршей и подругой Джибли, были дописаны слова: "по приказу Лавона" и Даяна спросили, значились ли эти слова и в подлиннике и не были ли они дописаны задним числом, как утверждал Лавон, — он упорно отвечал: "Не помню".

В правительстве тем временем пытались выяснить — что же все-таки произошло. Как только в газетах появились первые скудные сведения об арестах в Александрии, глава правительства Моше Шарет, ничего до сих пор не подозревавший, попытался навести справки у Исара Гареля, начальника "Мосада".

Тот ничего не знал, но высказал предположение, что тут, пожалуй, замешаны военные. Министр Лавон тоже навел справки, но не у Гареля, разумеется, а у начальника военной разведки, полковника Беньямина Джибли. (Кстати, по словам газеты "Едиот Ахронот" от 27.9.76, в ближайшее время выйдет в свет книга и его воспоминаний.) Джибли тут же ответил Лавону весьма уклончивым письмом: дескать, имеются признаки, указывающие на то, что и впрямь замешаны в какой-то мере его люди, но точно он еще ничего не знает.

Когда, однако, по поручению главы правительства, у него чуть ли не в тот же день наводит справку начальник Мосада Исар Гарель, Джибли отвечает уже по-другому. Он признается, что точно, это его люди; видно, произошла какая-то роковая ошибка: им было, мол, приказано лишь "готовить операцию", а не "действовать".

Несколько дней спустя Шарет сносится непосредственно с Лавоном и пытается выяснить, в чем дело. Лавон отвечает, что еще и сам ничего не знает, хотя для него ясно, что произошло что-то ужасное. Однако поскольку сеть провалилась и люди под стражей, то оба остановились на том, что лучше соблюдать осторожность. А то еще что-либо просочится наружу, и это только повредит арестованным.

В субботу 31 июля дома у Лавона созывается совещание, в котором участвуют и генеральный директор Министерства обороны Ш. Перес, Б. Джибли, Ш. Эшет и другие ответственные лица. По окончании совещания, посвященного, кстати, совершенно другому вопросу, Лавон отзывает в сторону — или в другую комнату — Беньямина Джибли и спрашивает его, что нового в каирском деле. Тот снова отвечает уклончиво: еще не все, мол, известно, — на том все и расходятся.

Совещание это никак с каирским делом связано не было, но месяца два спустя Джибли выдвинул версию, что именно после него Лавон дал ему с глазу на глаз команду действовать. Правда, при этом Джибли пытался отодвинуть дату совещания недели на две назад, то есть на пятницу 16 июля. Но Лавону было нетрудно доказать вздорность этого утверждения.

16 июля Лавон отмечал дома свой день рождения. Приходил его поздравить и Джибли, но ничего подобного тогда не обсуждали, да и среди присутствовавших в тот день 16 июля не было и быть не могло одного из действительных участников субботнего совещания 31 июля, а именно Ш. Эшета. Дело в том, что Эшет 6 июля выехал за границу, где у него скончался отец и вернулся только 28 июля, но все это станет актуальным — да и то глубоко за кулисами — примерно лишь через три месяца.

СГОВОР

Еще через несколько дней — третьего или пятого августа — Лавон докладывает о провале в Египте на секретном заседании пяти министров из партии Мапай (присутствуют Моше Шарет, Леви Эшколь, Голда Меир, Залман Аран и сам Лавон). Теперь министру обороны известно гораздо больше — и из печати, и из полученного им за несколько дней до этого нового рапорта Джибли, написанного главным образом на основе той же информации в местной и мировой прессе. Подробности, правда, еще не совсем ясны. Но нет никакого сомнения, что арестованные — израильские агенты, которые подчинялись спецподразделению военной разведки. После доклада Лавона обсуждался вопрос как быть. Совещание приняло совместную точку зрения главы правительства и министра обороны: теперь, когда делу все равно уже не поможешь, лучше ничего не делать — по крайней мере, до суда и вынесения приговора. Ведь если что-нибудь просочится наружу, то не только государству, но и самим арестованным будет нанесен непоправимый вред.

Таким образом, решение ничего пока не предпринимать было принято не Лавоном самостоятельно, в чем его будут обвинять впоследствии (устроил, дескать, "заговор молчания"), а совещанием пяти министров — в те дни высшей инстанцией по военным вопросам.

Как мы уже знаем, несколько дней спустя прилетел и сам

Аври Зайденберг. Он два дня писал обстоятельный рапорт, находясь дома у своего непосредственного начальника, подполковника Мордехая Бен-Цура. Этот рапорт впоследствии бесследно исчез. Но, похоже, что, кроме Бен-Цура да Бенямина Джибли ("Высшего офицера"), никто с ним не встречался.

Тем временем Лавон настойчиво требовал от начальника разведки обстоятельного доклада, но тот продолжал отвечать уклончиво — расследуем, мол; дело сложное, спешить в подобных делах не приходится.

Во второй половине августа в страну возвращается начальник генштаба Моше Даян. Он тоже требует от начальника разведки подробного доклада, но тот снова всячески увиливает. Вот как представляет этот эпизод Хагай Эшед:

"Когда Даян убедился, что так и не существует никакого документа о "Гиблом деле", нет и письменного приказа, он потребовал от "Высшего офицера" рапорт. "Высший офицер" все откладывал и откладывал представление рапорта под предлогом, что не все еще известно... В сентябре произошла неприятная стычка между Даяном и министром обороны, который попытался снять с себя ответственность за очередную операцию возмездия. "У меня было такое чувство, что "Высшему офицеру" следует знать об этом... — показал Даян перед комиссией Олшан—Дори, — вот я ему и посоветовал в этом смысле..."

Отметим, что из слов Х. Эшеда видно лишь, что стычка между Лавоном и Даяном произошла в сентябре, но вовсе не видно — когда же Даян сообщил о ней Джибли и снабдил его "полезными" советами: тогда же в сентябре или же только после возвращения этого последнего из срочной командировки в Европу. Но продолжим рассказ Х. Эшеда:

"Высший офицер" выехал в Европу с особым заданием. (Он поехал в Париж, чтобы организовать хотя бы защиту подсудимых на суде и нанять лучших французских адвокатов; М.Л.) Назавтра после его отъезда начальник генерального штаба потребовал немедленно представить ему рапорт... Приказ начальника генштаба был выполнен в тот же день заместителем "Высшего офицера" (Мордехаем Бен-Цуром; М.Л.)".

Это очень важный документ, и он, к счастью, не исчез; правда, сам автор отказался от него впоследствии, утверждая, что написал он его, "не подумав хорошенько", с целью "втереть очки" начальству и так далее, так что на нем необходимо остановиться подробнее. Цитировать сам документ, увы, по сей день не представляется возможным, но приведем его содержание хотя бы по книге Горовица и Хаскина "Афера":

"В этом рапорте "Офицер запаса" (Мордехай Бен-Цур; М.Л.) описал свою встречу с "Третьим человеком" (Аври Зайденбергом; М.Л.) за месяц до дня "Икс" (дня 2-го июля), встречу, в ходе которой он передал ему задание, составившее впоследствии "Гиблое дело". В рапорте ясно сказано, что он передал приказ "Третьему человеку", своему подчиненному, в точности так, как он был получен от "Высшего офицера", своего непосредственного начальника. Дальше в рапорте была даже расшифрована сама операция. Впоследствии, когда был устроен сговор против Лавона, а участники сговора пытались свести на нет выводы, вытекающие из этого документа, выяснилось, что содержание приказа, как он был сформулирован в этом рапорте, совпадает почти слово в слово с формулировкой этого же приказа, фигурировавшей в другом рапорте — увы, тоже исчезнувшем, — представленным задолго до этого тем же "Офицером запаса" своему начальнику "Высшему офицеру", а тот никак на это не реагировал. Еще позднее выяснилось, что рапорт этот был написан уже после секретнейшего опроса "Третьего человека" и на основании его показаний... "Офицер запаса" пишет дальше в своем рапорте, что определенного числа уже после его встречи с "Третьим человеком" — он назвал дату, предшествовавшую дню "игрек" на семь дней (но уже после дня "икс") (то есть 16 июля; М.Л.), — "Высший офицер" приказал ему передать по радио "Третьему человеку" команду приступить к выполнению операции... и что назавтра, то есть за 6 дней до дня "игрек" (17 июля; М.Л.), этот приказ, полученный от "Высшего офицера", был действительно передан непосредственным исполнителям... "Офицер запаса" безоговорочно включает в свой рапорт и те действия, которые были выполнены до того дня, когда он получил приказ от "Высшего офицера"; он даже перечисляет их все, не проводя между ними никакой черты".

Мы просим извинения у читателя за неясность приведенного отрывка, но именно так писали до недавнего времени — и продолжают (видно, по инерции) писать поныне — об этом темном деле.

Все это произошло пятого октября, назавтра после отъезда Б. Джибли в Париж. Министр обороны Пинхас Лавон не упоминается в этом рапорте ни единым словом. Что же предпринимает начальник генштаба, получив рапорт? Да ничего. Он ждет возвращения Джибли. Тот возвращается из Парижа 20 октября. О том, что было дальше, подробно рассказывает все тот же Хагай Эшед:

"Назавтра после своего возвращения, то есть в четверг 21 октября, "Высший офицер" (Джибли) является к начальнику генерального штаба, генералу Моше Даяну, чтобы доложить о выполнении особого поручения. После доклада оба офицера обменялись несколькими словами и о "Гиблом деле". Даян рассказал "Высшему офицеру", что он получил рапорт "Офицера запаса" (Бен-Цура) ...и обратил внимание "Высшего офицера" на то, что рапорт не полон: там сказано лишь, что "Офицер запаса" получил приказ от "Высшего офицера", но в нем ничего не говорится о том, от кого же получил приказ сам "Высший офицер". ... "Я сказал "Высшему офицеру", — показал Даян перед комиссией Олшан—Дори, — напиши рапорт, я его передам Лавону, а уж он решит, что делать".

Даян сказал "Высшему офицеру", — продолжает Эшед, — что Лавон откажется от того, что приказ дал именно он ("Высший офицер" был не из тех, чтобы принять всерьез возможность того, что Лавон отречется. "Вопрос этот поднял я, и мне пришлось настойчиво уговаривать его", — добавил Даян в своих показаниях комиссии Олшан—Дори, разрядка моя; М.Л.).

"...Теперь у "Высшего офицера" были две возможности: либо обвинить "Офицера запаса" в представлении ложного доклада в его отсутствие (что неминуемо повлекло бы за собой предание его суду), либо же отмежеваться от этого рапорта и уволить с должности "Офицера запаса". С разрешения Даяна "Высший офицер" избрал второй вариант"...

Между тем время начинает поджимать. По мере того как следствие в Египте идет к концу и приближается судебный процесс, в египетской, а также израильской и мировой печати все чаще появляются материалы, посвященные "Гиблому делу". Ввиду этого 26 октября состоялось еще одно заседание "пяти министров". Как показал, по словам Х. Эшеда, Лавон перед комиссией Олшан—Дори, он доложил на этом заседании, что "все еще неясно, на основании чего эти операции были проведены. Для того чтобы это выяснить, необходимо провес-

ти особое военное следствие, которое охватило бы десятки военнослужащих. Лавон пояснил, что сейчас не время проводить такое расследование, так как существует опасность, что об этом станет известно иностранным корреспондентам, а это в свою очередь подвергнет опасности жизнь подсудимых".

Все же на заседании "пяти министров" принимается решение, что отныне вся информация, связанная с "Гиблым делом", будет проходить через Министерство иностранных дел, которое возглавлял, как известно, сам глава правительства Моше Шарет. По словам Х. Эшеда, Даян не знал ни об этом заседании, ни о принятом им решении. Так или иначе, он "настойчиво уговаривает" Беньямина Джибли дать дополнительные показания, а тот, по-видимому, продолжает отказываться. Однако в последние дни октября Джибли наконец сдается и "по требованию Даяна... пишет дополнительный рапорт... В этом письме, адресованном начальнику генштаба, "Высший офицер" отмежевывается от рапорта, написанного "Офицером запаса", а также от фактических обстоятельств операций, выполненных не в соответствии с его приказом" (Х. Эшед).

Отпечатала этот документ Даля Кармель, секретарша Беньямина Джибли, которая заодно дописала строчку "по приказу Лавона". Эта строчка появилась на копии письма Джибли к Даяну, которое Даян, как мы помним, получил еще в июле в Вашингтоне и тут же уничтожил, забыв совершенно — значились ли в подлиннике приведенные выше слова.

В том, что Даля Кармель собственноручно дописала в декабре 1960 года в Париже эти слова, она сама созналась генеральному прокурору Гидеону Хаузнеру, специально приехавшему туда, но не по просьбе Джибли, а Мордехая Бен-Цура.

Настал решающий день 1 ноября. Джибли был не только готов свалить вину на Лавона, но он даже написал и подписал соответствующий документ. Этот документ был, правда, лишь дополнительным — первый-то рапорт изъять из дела все-таки не удалось, — но начальник генерального штаба постановил, что оба рапорта составляют одно целое и должны

фигурировать всюду вместе. Утверждалось же в этом документе, что 16 июля, на квартире у министра обороны, после обсуждения определенного государственного вопроса, Лавон передал устно и с глазу на глаз приказ Беньямину Джибли, и уже по распоряжению последнего приказ был наутро передан по радио в Каир. Однако, — говорилось дальше в документе, — агенты что-то напутали и сделали совсем не то, о чем говорилось в приказе.

В тот же день 1 ноября созывается заседание генерального штаба с участием Беньямина Джибли. Хоть и неохотно, он все же излагает перед собравшимися свою версию также устно, все фиксируется в протоколе, и делу, таким образом, дан ход. Предоставим еще раз слово самому Даяну, показавшему перед комиссией Олшан—Дори, по словам Х. Эшеда, следующее:

"Инициатива подчеркнуть ответственность министра обороны на заседании штаба от 1 ноября исходила от меня. Штаб — не конспиративное учреждение. Он состоит из людей разной политической ориентации. Общим знаменателем является ответственность за оборону страны. Мне хотелось довести дело Лавона и "Высшего офицера" до конца. Я сказал "Высшему офицеру": напиши рапорт, я передам его Лавону, а уж он решит, что делать. Своим утверждением, что приказ отдал министр обороны, я снял вопрос с моего стола. Если бы я этого не сделал, объяснения могли требовать от меня".

Сам министр обороны на заседаниях штаба, как правило, не присутствовал. Не пришел он и на этот раз. Вместо него пришел начальник его канцелярии Эфраим Эврон ("Эпи"), который назавтра подробно доложил обо всем министру. У Лавона, как легко представить, и до этого скребли на душе кошки. По чьей бы вине ни случилось то, что случилось, отвечает-то за министерство он. Его положение на этом ответственной посту было вообще в высшей степени незавидное. Сам он был человек хоть и очень интеллигентный, энергичный и умный — по свидетельству всех, кто его знал, — однако сугубо штатский.

В прошлом он придерживался весьма умеренной линии, считал, что можно идти на очень большие уступки, лишь бы

не рисковать уже достигнутым. И вдруг Бен-Гурион именно его назначил своим преемником на посту министра обороны, хотя в прошлом их позиции почти никогда не совпадали. Получил ли он от своего предшественника соответствующий инструктаж — неизвестно, но повел он себя на посту министра обороны вполне в духе Бен-Гуриона, не обладая при этом ни его правами (Бен-Гурион ведь был одновременно и главой правительства), ни, главное, его авторитетом.

При Бен-Гурионе не могло и возникнуть вопроса, следует ли держать главу правительства в курсе всех дел, связанных с обороной. После его ухода вопрос этот встал со всей остротой, и Лавон решил его, увы, отрицательно. Шарет хватился очень скоро, что ему докладывают далеко не обо всем, "совещание пяти министров" для того и было учреждено, чтобы глава правительства и его ближайшие помощники из партии Мапай были осведомлены о всех военных делах. С другой стороны, сам Лавон занимался исключительно вопросами обороны — он ведь не был главой правительства — и входил в такие области, подчас в такие детали, каких Бен-Гуриону никогда и в голову не приходило касаться. Этим он вызвал острую неприязнь ответственных руководителей Министерства обороны и в первую очередь генерального директора Шимона Переса.

Высшее командование, перед которым Лавон, стремясь заслужить расположение, старался разыгрывать не слишком свойственную ему роль этакого "ястреба", относилось к нему с пренебрежением и неприязнью. С начальником генерального штаба, убежденнейшим, как и он сам в те дни — "активистом", Лавон тоже не нашел общего языка.

В партии его новые замашки вызвали отчуждение и тревогу, — словом, человек, менее самолюбивый, чем Лавон, сам бы поспешил подать в отставку.

В "Гиблом деле" министр обороны с самого начала вел себя, по словам "Эпи", настоящим рыцарем, не старался свалить вину на кого бы то ни было из своих подчиненных, был готов принять на себя общую ответственность, но, когда его секретарь Эфраим Эврон доложил ему второго ноября, что на него пытались взвалить еще и личную ответственность,

он чуть не решил покончить с собой, как мы это помним из рассказа Иона Кесе главе правительства Моше Шарету.

Лавон тут же потребовал протокол заседания генерального штаба, и назавтра 3 ноября получил его с приложением всех "документов". Внимательно читая главный обвинительный документ, дополнительный рапорт Джибли, министр обороны обратил внимание на то, что тот утверждает, будто получил приказ от Лавона устно и с глазу на глаз 16 июля.

Напомним еще раз, что 16 июля был день рождения Лавона, и он хорошо помнил, что тот "государственный вопрос", на который ссылался Джибли, в тот день никак не мог обсуждаться. И вот, не говоря никому ни слова, в глубочайшей тайне и не в рабочее, разумеется, время Лавон начинает докапываться до истины: "поднимает" старые записные книжки — не только свои, но и жены — и устанавливает с полной достоверностью, что, во-первых, 16 июля была пятница, тогда как "государственный вопрос" обсуждался хотя и у него дома, но — он точно помнил — в субботу. Он даже помнил более или менее, кто именно присутствовал тогда на обсуждении. И тут он впервые открывается своему секретарю Эфраиму Эвруну, который тоже в тот день находился среди других в доме Лавона и также хорошо помнил, что дело было не в пятницу, а в субботу и что Лавон действительно уединился с Джибли на несколько минут по окончании обсуждения. Поняв, сколь опасная интрига затевается против министра обороны "Эпи" (который до сих пор был не очень в хороших отношениях с Лавоном — характер у последнего был действительно далеко не из легких), безоговорочно становится на сторону Лавона и долгие годы остается его единственным союзником.

Тем временем жизнь идет своим чередом. Что ни день, то новые нападения террористов, новые стычки на границах. Лавону приходится участвовать в совещаниях, выступать в Кнесете. И когда подробности "Гиблого дела" стали все чаще мелькать в газетах, Комиссия Кнесета по иностранным делам и обороне потребовала, чтобы ей доложили, в чем тут все-таки дело.

В Комиссию эту входили, как известно, депутаты не толь-

ко правящих партий, но и оппозиции, и Лавон, верный мапеец, не допускал и мысли, чтобы оппозицию ввести в курс дела. Поэтому после очередного заседания генерального штаба он задержал на несколько минут Даяна и Джибли и предложил им обоим следующую тактику. Когда придется ему выступать перед Комиссией по иностранным делам и обороне, он доложит, что приказ гласил: "только готовить операцию, но отнюдь не действовать". Это была согласованная с главой правительства и "совещанием пяти министров" туманная формулировка, и не было ничего из ряда вон выходящего в том, что от Комиссии Кнесета пытались скрыть истинное положение вещей — такие ли еще дела скрывались до и после "Гиблого дела".

Но Даян резко отверг это предложение. Лавон настаивать не стал, однако на заседание Комиссии не пошел. Вместо него выступил сам Моше Шарет.

Я потому так подробно останавливаюсь на этом эпизоде, что впоследствии попытаются представить это предложение Лавона как доказательство того, что он "сознательно лгал".

Через два или три дня после беседы с Даяном министр обороны вызывает к себе Беньямина Джибли и, ничего ему не открывая, пытается уговорить его отказаться от возведения напраслины. Лавон прочел ему целую лекцию о том, что ошибаются, мол, все, что еще не поздно признаться в содеянном — он, Лавон, все поймет и зла питать не станет, — а вот если Джибли будет упорствовать в своих облыжных обвинениях, то э т о г о никто ему не простит и так далее в том же духе. Джибли упорствовал.

Окончательно убедившись, что против него затевается сговор, Лавон докладывает обо всем на очередном "заседании пяти министров". Те просто не верят своим ушам и тотчас принимают решение, что так дело оставить нельзя, а надо провести расследование.

Действуя исподволь, Лавон — под предлогом того, что ему следует передать все связанное с операциями в Египте главе правительства — смог получить от Джибли собственноручно написанные им ответы на ряд вопросов. Был получен и список лиц, участвовавших в том обсуждении, после

которого Лавон якобы отдал ему злополучный приказ. Имея этот список, Лавон в отдельности обращается к каждому участнику встречи в его доме с вопросом: не помнит ли он, когда именно состоялось у него в квартире обсуждение такого-то вопроса? Все, в том числе и генеральный директор Министерства обороны Шимон Перес, ответили, что точную дату они не помнят, но происходило это в одну из суббот. Некоторые даже не забыли, что после обсуждения Лавон уединился ненадолго с Джибли.

В списке значилась, однако, и фамилия Ш. Эшета, который на завтра после обсуждения даже написал по долгу службы отчет о нем.

Все знали, что он почти весь июль месяц был за границей, где у него скончался отец, и достать об этом официальную справку было совсем нетрудно. Вернулся он из-за границы только 28 июля. В конце концов выяснилось, что состоялось обсуждение в субботу 31 июля. Разумеется, 31 июля — через неделю после провала сети! — никто и никакого оперативного приказа давать не мог. Уединился же Лавон с Джибли затем, чтобы спросить у него, что нового в этом деле.

Собрав все эти сведения и материалы, министр обороны снова вызывает Джибли. На этот раз он его уже отнюдь не уговаривает, а прямо обвиняет в сговоре: по своей инициативе тот отдал приказ или по чьей-либо другой? Беседа получилась длинной и очень тяжелой. Джибли и тут остался при своем, не пускаясь ни в какие объяснения, тем более что Лавон и тут не раскрыл перед ним всех своих карт.

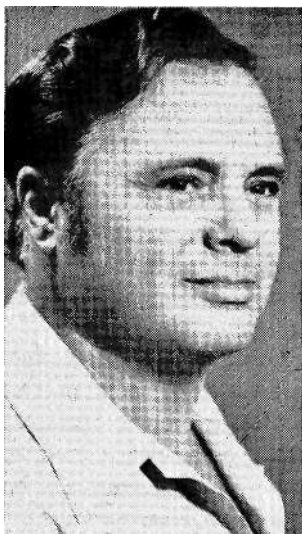
Тогда Лавон пригласил к себе Даяна и рассказал ему обо всем. Даян выразил глубокое возмущение, заверил Лавона, что ничего этого не знал, однако не исключает возможности, что теперь Джибли попытается утверждать, желая оправдаться, что он все согласовал с ним, Даяном. Тут же на месте Даян предложил Лавону снять Джибли с должности. Правда, не уволить из армии, потому что в таком случае его пришлось бы предать суду, а об этом не может быть и речи, пока не будет вынесен приговор в Каире.

Лавон, разумеется, тронут. Но в тот же день Даян звонит Лавону по телефону и говорит, что о немедленном снятии

Джибли не может быть речи, и предлагает отложить дело на несколько месяцев. Лавон тотчас понял, что это значит, и не согласился. Вместо этого он отправляется к своему "врагу", к главе правительства Моше Шарету и требует — неслыханное до тех пор дело! — назначить "гражданскую" следственную комиссию. Шарет соглашается и через несколько дней назначает члена Верховного суда Олшана и первого начальника генерального штаба Армии Оборона Израиля Дори членами комиссии.

И тут происходит что-то весьма странное. Никто еще ничего толком не знает, в глубочайшей тайне еще только вынашиваются планы создания следственной комиссии. И все же на одном из празднеств Даян подходит к одному из близких друзей Лавона и говорит: пускай, мол, Лавон лучше откажется от следствия, потому что ничего хорошего его не ждет. Лавон не обратил на это предостережение никакого внимания, и комиссия все-таки была назначена. Работать она начала в первых числах января, и дней через десять вынесла свое "ничейное" решение.

Окончание в следующем номере.



Зеев КАЦ

ВЕРА ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ

Жизненный путь еврейского народа полон парадоксов. Парадоксально само его существование в веках и тысячелетиях без какой-либо видимой опоры на территорию, государство и его атрибуты. Иудаизм — основная скрепа, не позволившая рассыпаться народной храмине за долгие годы изгнания, как рассыпались когда-то камни Второго Храма под коваными сапогами римских легионеров.

Однако еще более парадоксальным выглядит распространение неверия и атеизма в возрожденном еврейском государстве, где, кажется, ничто не препятствует свободному исповеданию религии, столь бережно сохраняемой в годы жесточайших гонений.

Нет сомнения, что имеется кризис иудаизма, но он не изолирован от общего кризиса религии в современном обществе. Выросшие на основе развития рационализма идеологии нового времени стали на позиции отрицания религии и церкви. В массовое сознание успешно внедрилась мысль, что религия человеку не нужна, а религия и церковь в той форме, в какой

знали ее просветители XVIII и идеологи XIX века, даже реакционны. И, конечно, исторически это верно в некоторой мере, потому что идеологи прошлого века видели и могли видеть только те формы религии и церкви, которые тогда существовали на Западе.

Поэтому они пришли к выводу, что религия и церковь вообще не нужны. Человек может жить, как рационально мыслящее существо, без всякой веры и без всякой системы иррациональных ценностей, ритуалов и религиозных обрядов. Я думаю, что события XX века показывают границы этого представления и властно возвращают нас снова к вопросу о религии.

Разумеется, это относится прежде всего к бытию еврейского народа. И здесь я следую некоторым мыслителям середины XX века, в частности, профессору Эмилю Факенгайму, который говорит: из Освенцима несетя крик; этот крик утверждает существование еврейского народа. Нельзя отдать Гитлеру посмертное вознаграждение в виде самоликвидации еврейского народа в безрелигиозной, лишенной национальной индивидуальности массе. Я думаю, что можно продолжить эту мысль и отнести ее не только к еврейскому народу.

Голоса несутся из печей Освенцима и Трешлипки, из тюрем и лагерей ГУЛАГа и из пепелищ Хиросимы, они сливаются в набат, который гремит и возвещает, что человеку и человечеству нужна религия. Уроки прошлого не могут быть забыты и пройти даром.

Когда я говорю — религия, я не говорю о религии старого покроя, связанной с существованием сверхъестественных сил. Возврат к такой религии был бы, по-видимому, невозможен. Не случайно говорят многие, что Бог умер в аду Берген-Бельзена и Освенцима, ГУЛАГа и Хиросимы, в крови и пепле миллионов замученных людей. Я говорю о странном парадоксе — атеистическом утверждении теизма в сознании современного человека, или возвращении к религии после смерти Бога, или, если хотите, рациональном принятии необходимости в нерациональном.

Человеку необходима вера, он должен во что-то верить.

Человек, который ни во что не верит и ко всему относится только по холодным калькуляциям рациональности, такой человек снова может допустить развитие событий, бывших в основе массовых лагерей уничтожения нацистской Германии или Советского Союза, пожаров Хиросимы или человеческой бойни Биафры и Ливана.

Возможно, правы те, кто утверждает, что миллионы бессмысленно загубленных жизней — это провиденциальное напоминание человечеству о Боге.

Но как определить это понятие? Какое место оно занимает в предлагаемой "системе"? Бог есть некий общий код, общий символ, охватывающий множество содержаний. Обратимся к одному, которое представляется мне классическим. Бог — сверхъестественное существо, являющееся гарантом морального порядка в мире. Бог все видит и судит человека по его поступкам. И если мы в жизни не видим порядка, при котором вознаграждается праведник, а грешник получает по заслугам, то после жизни, в потустороннем мире, Бог судит человека и воздает каждому по его делам. Так, по крайней мере, говорят великие религии человечества — иудаизм, христианство, ислам.

Есть и другой смысл в определении Бога как гаранта морального порядка в мире. Бог не может допустить, чтобы зло восторжествовало в мире надолго. Предоставив человеку свободу воли и не вмешиваясь в его дела, Бог допускает творимое человеком зло, но зло временное и индивидуальное. Как же примириться тогда с ужасами Освенцима или ГУЛАГа, когда зло восторжествовало в мире надолго? Как объяснить это массовое уничтожение людей? Во имя чего были осуществлены гигантские жертвоприношения XX века? Религиозная мысль не дает на это ответа. Не случайно религиозные мыслители стараются обойти эту проблему или дать ответ, что Божьи пути нам не известны. Во всяком случае, с этой точки зрения понятие Бога как стража моральных устоев мира поколеблено в глазах поколения, пережившего массовые трагедии XX века.

Отход от старой религиозной психологии, создание рациональных форм мышления и соответствующих идеологиче-

ских и философских систем сочетается в наше время с громадным развитием технологии и различных форм массовой культуры. Этот процесс идет параллельно с разложением веры и старых религиозных представлений и ценностей. В результате пропало понятие какой-то обязующей морали, какого-то обязательства одного человека к другому. Исчезло само понятие греха.

Развитие крайне индивидуалистических систем — я сам за себя и никому ничем не обязан — дополнило распад первичных групповых форм жизни человека: семейной и религиозной. Утратив религиозное чувство и веру в какие-то ценности, человек оказался изолированным и покинутым перед лицом стихийных сил весьма далекой от гуманистических начал эпохи. Отмеченный выше религиозный кризис обернулся в конечном счете кризисом человека и человечества.

Как и всякий кризис, он может привести к катастрофе, поскольку непрерывно возрастает несоответствие между ускоряющимся технологическим развитием человечества и постоянным его отставанием с моральной точки зрения. Но может наступить стабилизация, а затем и возрождение прошедшего через катарсис человечества.

В этом процессе решающим будет то, что мне хотелось бы определить новым термином, — религиозный категорический императив. Несомненно, вы заметили аналогию с известным философским термином Канта, означавшим вечное и безусловное нравственное веление, лежащее в основе морали. В понятие религиозный категорический императив я вкладываю несколько иной смысл. В основе морали всегда лежала религиозная идея, утрата ее определила нравственный кризис. Если не будет возвращения в какую-то веру, в систему религиозных ценностей, включающих понятие греха, если не произойдет возрождения человеческой совести, групповых форм религиозного общения, ритуала и традиций — деградация и гибель человечества неминуемы, и притом в недалеком будущем. Безрелигиозное существование человека не может быть вечным.

Ошибка провозвестников нового времени заключалась

в том, что в своей борьбе против религиозной схоластики и церковных форм средневековья они пошли неоправданно далеко и вместе с водой выплеснули из ванны ребенка. Иными словами, вместе с отрицанием имеющих в то время форм религии и веры они отвергли и основанные на безусловных религиозных принципах моральные заветы, лишив человека нравственной устойчивости. Трагические результаты не заставили себя ждать.

Как же совместить в сознании современного человека, получившего в массе своей атеистическое, естественнонаучное воспитание, необходимость принятия религиозных принципов и невозможность веры в Бога? Ведь для большинства людей понятия религия и Бог, как сверхъестественное существо, идентичны. Преодолеть это противоречие мыслимо в некоем, на первый взгляд, странном и парадоксальном решении проблемы.

Это религия, которая несет моральное, традиционное, ритуальное и другие начала, но без веры в сверхъестественное. Иначе говоря, имеется в виду религия без Бога. Если кто-нибудь назовет Богом моральное чувство в человеке, то я соглашусь с ним, но не думаю, что это чувство вызвано сверхъестественным, онтологическим существом, обитающим вне человека. Если хотите, я сказал бы, что есть в человеке и человечестве какие-то силы, которые существуют независимо от его сознания. Я называю их "духом человечества".

Знакомым с теориями Фрейда и Адлера и с понятием индивидуального подсознания нетрудно будет принять то, что может быть определено как коллективное религиозное подсознание человечества. Это означает нечто, имеющееся в человеческой психике и человеческом роде, что развилось в самом человечестве и передается из поколения в поколение, но не имеет сверхъестественной природы и вне человека и человечества не существует.

Этот феномен можно было бы даже объяснить с помощью дарвинизма. Те формы человекообразных существ, которые развили в себе такой моральный дух, остались в живых, живут и поныне, воплотившись в современном человечестве.

Те же сообщества, которые были лишены подобного духа и не развили систему моральных ценностей и нравственных взаимоотношений, исчезли, истребив друг друга.

Общечеловеческий дух, существующий в общечеловеческом подсознании и передаваемый из поколения в поколение, и является религиозным чувством человека. Есть люди, у которых это чувство развито очень сильно, точно так же, как встречаются люди с необычайно развитым музыкальным или научно-аналитическим талантом. Люди, обладающие религиозным, пророческим талантом, становятся создателями религиозных систем. Не исключено даже появление гениев религиозного порядка.

Голос религиозного пророчества, объясняемый как зов Всевышнего, с современной точки зрения может быть объяснен громадной внутренней концентрацией религиозного таланта, воспринимаемого окружающими как духовное озарение.

Миллионы лет развивалось личное и общественное поведение человека, и в нем всегда было начало религиозное, моральное, ритуальное. Этнографы и антропологи всех стран мира еще не нашли неверующего человека, такого человека, который ни во что не верит. Пусть иногда мы называем его веру примитивной, граничащей с предрассудками. Однако факт остается фактом. Я думаю, что никогда не найдут примитивного человека с полной атрофией религиозного чувства.

С другой стороны, имеются многочисленные свидетельства о том, что люди научно-рационального мировоззрения, всю жизнь старавшиеся избавиться от всякой веры и, по-видимому, добившиеся этого, почувствовали, что их жизнь стала беднее. Что-то важное и существенное оказалось утерянным и невозполнимым. Более того, после многих лет полного неверия одни ощупью и неуверенно, другие осознанно и настойчиво перешли в стадию поисков веры и какого-то ритуала.

Напрашивается вывод, что религиозная потребность неотъемлема от современного человека, даже если он пришел к научному сознанию и не верит в сверхъестественного Бога.

Рационально принятая религия эпохи XXI — XXV столе-

тий — избавит человека от противоречия между научным мышлением и психической нуждой. Без веры в чудеса, но с твердым убеждением в неоспоримой ценности моральных норм и нравственных заветов, с четким ощущением греха и ответственности за свои поступки человек сможет жить полной, широкой и богатой внутренним содержанием жизнью.

И не будет ничего удивительного в создании новых форм группового ритуала в рамках возрожденной религиозности, в появлении религиозных руководителей, обладающих талантом утверждать моральные устои в образах притягательных для скептического ума современного человека.

Естественно предположить, что, восстановив религиозное сознание и рационально построив религию без Бога, человек придет в конце концов к такому состоянию, когда в нем проснется необходимость иметь и веру в сверхъестественные силы, в сверхличного Бога. Что ж, какие-то формы мистики, по-видимому, нужны особенно в таком технологически-рациональном мире, который существует сегодня. Однако современный мистицизм значит лишь одно: придать каким-то ценностям, традициям, ритуалам понятие святости.

До сих пор мы рассматривали общие вопросы кризиса религии и необходимости человека восстановить в себе религиозное сознание, исходя из потребностей современной эпохи. Что если сумму этих идей применить к иудаизму? Как соотносятся высказанные нами мысли к религиозной жизни еврейства вообще и общественно-религиозной жизни в Израиле? Исчерпан ли иудаизм, существующий ныне в виде трех основных течений?

Многие из тех, кто приезжает в Израиль, особенно если они воспитывались в духе иудейской религии, говорят, что в Израиле они теряют то еврейское религиозное сознание, которое они имели. Им кажется, что они становятся менее евреями, чем были раньше. Почему возникает это ощущение? Потому что в жизни этих людей было еврейское содержание, к которому они привыкли в той еврейской среде, где они жили за границей. В этой среде еврейское и традиционно религиозное было идентично. В Израиле они увидели, что сложившиеся в понятии евреев представления, существовав-

шие в их прежней жизни, ослабевают или отпадают совсем. Наступает период, когда им кажется, что они дееврейзируются.

Не случайно многие мыслители полагают, что в Израиле идет процесс коллективной ассимиляции евреев в народ новой формации. Этот процесс идет через еврейский национализм, который в условиях Израиля является не чем иным, как светским национализмом. Вместо того чтобы избавить еврейский народ от ассимиляции, заявляют они, именно сионизм и Израиль создают светскую современную эlegantную форму бегства от иудаизма. Между тем именно он спас еврейский народ от ассимиляции в годы рассечения.

В этом есть зерно истины. В Израиле сознательно или, быть может, подсознательно, — как хотите, создается новая форма иудаизма, которая отличается от старых его форм, но постепенно приобретает свою ритуальную структуру, прочно входя в сознание израильтян.

Известно, что в еврейском мире существуют ныне три течения иудаизма. Первое — ортодоксально-традиционный иудаизм, более или менее известный евреям, приехавшим из Советского Союза. С его обрядами и традициями советские евреи знакомы достаточно хорошо. Облик религиозных евреев с бородой и пейсами, одетых нередко в далекую от современности одежду, молящихся несколько раз в день и придерживающихся законов кашрута, перестал удивлять новоприбывших своей странностью, но и религиозного чувства не прибавил. Скорее, наоборот.

Ортодоксальный раввинский иудаизм далеко не един. В нем имеется хасидизм, как своеобразное направление религиозной мысли и связанного с ним ритуала и образа жизни. Ортодоксальное течение в основном доминирует в Израиле.

Значительная часть евреев Соединенных Штатов и Западного мира вообще придерживается реформистского течения в иудаизме, более всего соответствующего, с их точки зрения, современному светскому обществу и западному образу жизни. Реформистское движение было основано еврейскими теологами и философами Центральной Европы, стремившимися избавить традиционную еврейскую религию от национальной и ортодоксально-раввинской формы. Они хотели

оставить в иудаизме только общечеловеческие моральные и гуманистические устои и некоторые еврейские традиции. Крайние представители реформистского направления изъяли даже из молитвенника упоминание об Эрец Исраэль и еврейском народе, полагая, что еврейство — это только религия.

Богослужение в реформистской синагоге устроено в современной и модной форме, так что иногда не видно большой разницы между еврейской синагогой и протестантской кирхой.

За последние десятилетия в реформистском течении произошли большие изменения. Наметился обратный процесс возвращения от денационализации иудаизма и космополитизма к национальным концепциям и даже к сионизму. Объединение реформистских синагог решило коллективно вступить во всемирную сионистскую организацию. Студенты реформистской раввинской семинарии обязаны хотя бы один год учиться в Израиле. Они должны знать иврит и познать страну.

Третье течение иудаизма — консервативное — находится где-то посередине между ортодоксией и реформизмом. Оно выступает за принятие старых традиций ортодоксального еврейства, но смягченных современной формой. Например, нет разделения в синагоге между мужчинами и женщинами, вся семья может сидеть вместе. Современного вида раввин концентрирует внимание прихожан не на запретах, а на моральной стороне религии. Несколько укорочена молитва, и ей придана более современная форма.

Таким образом, только ортодоксальный иудаизм остался без всяких изменений, однако он имеет достаточную жизненную силу и даже приобрел некоторую форму динамичности. Дело в том, что в религиозных семьях, как правило, много детей, которые получают традиционно религиозное воспитание. Приобретая потом светское образование, они увеличивают в молодом поколении удельный вес светски образованных и современно выглядящих, но глубоко в ортодоксальном духе верующих молодых людей.

Кроме того, события Шестидневной войны — освобождение старого Иерусалима и Западной стены — выглядели в глазах

многих ортодоксальных евреев молодого поколения как результат вмешательства сверхъестественных сил. Имелась определенная интерпретация победы израильских вооруженных сил в духе осуществления Божьего дела на земле. Все это создало определенные предпосылки для возрождения и продолжения религиозной ортодоксии в сочетании с традициями и новым национализмом.

Однако мне представляется это возрождение ограниченным, оставшимся в своем же круге. Оно не захватило даже небольшого процента нерелигиозного населения Израиля, которое перешло бы на позиции религии ортодоксального порядка. Его нельзя назвать также национальным религиозным потоком. Возрождение оказалось временным, и после двух-трех лет многие отошли от религиозной жизни, так как не воспитанным в ортодоксальной вере жить по всем правилам ортодоксального еврейского закона показалось весьма трудно.

С другой стороны, и реформистское течение не соответствует Израилю и не удовлетворяет современное молодое поколение нашей страны. До сих пор оно не оказывает почти никакого влияния на основное население страны. Есть в реформизме что-то настолько напоминающее Западную церковь, что многие начинают спрашивать: а почему бы мне не стать просто баптистом? Но такое решение чуждо по своей сути израильскому народу, особенно молодому поколению Израиля.

Итак, ни одно из существующих течений в иудаизме, несмотря на их некоторое разнообразие, не имеет ни малейшего шанса вернуть нерелигиозное население Израиля к религиозным формам, которые так нужны современному человечеству. Не следует забывать, что это население воспитано фактически в неверии, в отрицании не только религии, но в отрицании Галута. А все течения иудаизма выглядят в глазах израильтян как галутские по форме: ортодоксальное — восточноевропейская форма Галута, реформистское — западная форма Галута. И то, и другое не могут не встречать глубокого внутреннего сопротивления.

Для большинства израильтян возможна только такая

религиозная форма, которая выросла бы из самого их характера, из его моральных, психологических и иных особенностей. Кроме того, нужна такая форма иудаизма, которая сумела бы сочетать нравственные основы древней еврейской религии с современным еврейским национализмом и традициями нового израильского общества.

Я думаю, что новая форма иудаизма — израилизм — уже создается. Правда, такие процессы, как возникновение нового религиозного сознания и утверждение соответствующих им религиозных обычаев и ритуалов, чрезвычайно сложны и захватывают не одно поколение. С моей точки зрения, подобная трансформация в Израиле происходит, пусть даже бессознательно. Ее главным отличием является переплетение религиозных мотивов с национальными, закрепление старых традиций и новых ритуалов в широчайших слоях нерелигиозной части населения страны.

Я приведу некоторые примеры, дающие представление о том, о чем я здесь говорю. День независимости Израиля становится в определенной мере религиозным праздником. Светское по существу событие отмечается специальным Богослужением, в котором произносят специальные молитвы.

Отмечено, что абсолютное большинство нерелигиозного населения Израиля отмечает день вступления мальчика в пору зрелого возраста (бар-мицва). В отличие от обрезания (брит-мила), обряд этот отнюдь не предписан религиозным законом как обязательный. Тем не менее, обряд бар-мицва стал общепринятой израильской традицией для каждого еврея, религиозного или нерелигиозного.

То же самое происходит в отношении праздников. Даже самые антирелигиозные кибуцы отмечают основные религиозные праздники, такие, как Песах, Суккот, Шавуот, не говоря уже о еврейском Новом годе. В эти дни хочется ощущать себя не только членом кибуца, но коллектива, значительно более великого, — еврейского народа.

Иначе говоря, человек ощущает себя евреем через солидарность с прошлым, настоящим и будущим народа, к которому он принадлежит. Принадлежность к израильскому

народу включает в себя и солидарность с общепринятыми традициями нового израильского образа жизни, в котором моменты национальной истории освящаются религиозным ритуалом.

Создается удивительный сплав национально-религиозной традиции без Бога и сверхъестественности, доступный верующему и неверующему, с элементами нерационального, но рационально признанного и общепринятого. Имеются даже определенные начала кодификации новых памятных дат, говорящих о моральной стойкости еврейского народа, например, День катастрофы и героизма европейского еврейства, День Иерусалима.

Возникают новые формы морали Израиля, в дополнение к универсальным моральным ценностям Торы и пророков. Эта мораль относится равно как к национальным проблемам, так и к общечеловеческим. Например, военная служба молодого человека и молодой девушки в Израиле стала не только государственной обязанностью, но общепринятым моральным обязательством для молодых израильтян (кроме небольшой группы религиозных или антиссионистски настроенных людей),

Это особенно ясно видно на примере израильских девушек, когда каждая может декларировать себя в качестве религиозной и уклониться от службы в армии. И если большая часть этого не делает — значит, военная служба становится общепризнанной мицвой, заслуживающей морального поощрения нормой поведения.

Я думаю, мы не ошибемся, предположив, что являемся свидетелями — более того, участвуем в процессе рождения нового иудаизма — веры для неверующих, религии нового плана. Следует, конечно, добавить, что все сказанное вовсе не является воинствующим атеизмом и не преследует цели оторвать человека от веры в Бога, если такая вера у него есть.

Но если вера человека в Бога соотносится с движением его сердца и его разумом и имеет для него не только ритуальное, но и моральное значение, мы скажем так, как говорили

пророки: "Зачем нам ваши пожертвования? Будьте справедливы и помогите вдове и сироте!"

Для того, кто верит, нет проблемы. Но что делать с неверующими? Может быть, новый иудаизм даст им точку опоры в жизни.

Борис ХАЗАНОВ

"ЗАПАХ ЗВЕЗД"

Повести и рассказы ("Запах звезд", "Взгляни в глаза мои суровые", "Дорога на станцию", "Час короля" и другие).

256 стр. Цена в Израиле — 28 лир, за границей — 3 доллара. При заказе непосредственно в издательстве — 25 лир.

Выходит из печати в ноябре 1976 года.

Заказы принимаются по адресу: ул. Нахмани, 62 Тель-Авив. Издательство "Время и мы".

(К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.)



Наталья РУБИНШТЕЙН

ЖИТЬ ВО ЛЖИ

О новой повести Юрия Трифонова "Дом на набережной"

Главной трудностью и главной ценностью в процессе работы — то, за чем следишь пристальнейшим образом, что более всего мучит, — является ощущение правдивости жизни.

Ю.Трифонов. "Возвращение к PROSUS"

Январский номер журнала "Дружба народов" исчез мгновенно из продажи в Советском Союзе. В библиотеке его не достанешь. На "черном рынке" он стоит нынче пятьдесят рублей, столько же, сколько стоит крамольный, заморский, недоступный "Континент". Корреспонденты из России, как сговорившись, настойчиво советуют: "У нас здесь много говорят о новой повести Трифонова "Дом на набережной", прочтите, если у вас это возможно".

У нас здесь это, слава Богу, возможно. Я прочла. И многое, многое вспомнилось мне: то, что было моим вчерашним днем, и лихую бедой моих друзей, и смертельной опасностью для моих учителей — то, что делало кабинетную профессию, литературу, филологию, занятием более рискованным, чем укрощение диких львов или работа с радиоактивными веществами.

Вскоре после окончания института я пришла по делу к маскитому писателю и филологу, одному из немногих уцелевших, хотя и многожды битых, клейменных и каявшихся, не в силах отделаться от проклятия таланта — пока талант не опал сам собой, не то от времени, не то от покаяний, — к одному из знаменитейших формалистов двадцатых годов. "Деточка, — сказал он мне, — зачем вам эта литература? Купили бы себе лучше мотоцикл. Покатаетесь — и разобьетесь, а то ведь разобьетесь — и даже не покатаетесь". Я думала, он шутит, а в нем говорил опыт участника многих идеологических ралли.

ПЫПКА ЕЖЕДНЕВНОСТИ

Вот книга, небольшая по объему повесть, еще одна в ряду трифоновских повестей последнего десятилетия, чем-то похожая и на "Обмен", и на "Долгое прощание", и на "Предварительные итоги", и на совсем недавнюю "Другую жизнь". Ни тюрем, ни психушек, ни лагерей, — просто жизнь, столичный средний класс, все больше гуманитарии — историки там, литературоведы, переводчики, юристы, учителя, попадают и инженеры или врачи. Публика все больше семейная, по советским понятиям устроенная нормально, а порой даже очень хорошо — с машинами и дачами. Отчего же так гнетет каждого груз далеких, часто юношеских, порою детских, воспоминаний, отчего почти каждый не то бросил, не то предал нечто, оставшееся позади себя: то ли мать, то ли друга, то ли себя самого, то ли юный творческий бред, то ли зрелый измучивший дар?

Отчего это в каждой повести Трифонова, точно мы все читаем одну и ту же, столь знакомую в жизни и неведомую искусству повесть, так тесно заплетены настоящее и прошлое,

а сквозь них проглядывает, не желая уходить в забвение уж и вовсе давно прошедшее? Отчего бесконечно раняща жизнь и безнадежно ранены герои? Отчего все воюют со всеми, и ни на минуту не стихает ежедневный бой соседей по коммунальной квартире, детей и родителей, живущих под одной крышей, вчерашних друзей, ставших вековыми врагами? А оттого, что, как в одной небольшой своей заметке прояснил автор, "быт — это великое испытание... Нужно постоянно делать выбор, на что-то решаться, что-то преодолевать, чем-то жертвовать. Устали? Ничего, отдохнете в другом месте. А здесь быт — война, не знающая перемирия".

Повесть "Другая жизнь" начинается как раз с ухода надорвавшегося за сорок два года ежедневных военных действий героя в "другое место", в лучший мир, в вечный покой. Но и без него продолжается безжалостная война жены с матерью, дочки с бабушкой, возня сослуживцев, затравивших его и теперь желающих получить результаты его трудов. Ретроспективно раскрученная лента ушедшей жизни обнаруживает того самого героя, которого так вождельно требовала от Трифонова строгая советская критика, — героя почти неспособного к нравственным компромиссам. Но оказывается, что такой герой наименее способен выжить, просто не в силах даже отбыть на земле положенный среднестатистический век, а во-вторых, и у него много взяла междоусобная война, бытовое противостояние, и побед он не одержал, даже малых, и открытий не совершил, и правды своей не прокричал, а метался всю жизнь между пустяками — от истории московских улиц к старым спискам царской охранки, — поскольку уж и с самого начала на большую правду не те нужны были силы замахнуться. И глухая тоска по вечному и трансцендентному гнала его от архивных папок к доморощенным московским спиритам и допотопному журнальчику "Вестник загробной жизни". Персонаж, интересующий Трифонова — всегда средний человек. У героя, у гения и силы другие, и тяжесть быта ложится на его плечи. Нет, вот если ты не герой — как снести тебе нынешнюю советскую жизнь, не страшную, без суда и без пытки, с одной только пыткой ежедневности? Где только ни разгораются страсти в этой нормальной социалистической

действительности: получение сносного жилья, покупка одежды, поездка в отпуск, заграничная командировка — все, что в проклятой буржуазной жизни регулируется лишь трудом и заработком, все здесь может обернуться испытанием и подвергнуть проверке нравственные силы героя в таком месте, на каком ему бы и в голову не пришло споткнуться, родись он в другой части Земного шара.

Тому, кто не знает современной российской жизни, повести Трифонова могут многое прояснить в загадочной ментальности нынешних советских людей. Тому, кто хорошо ее знает, они помогут угледеть опасности, грозящие душе на каждом шагу и порой заключенные внутри себя, даже если ты сменил обстановку. Эти родимые пятна надолго.

ПО ЧУЛОЧНОМУ КАНОНУ ССП

Среди всех трифоновских повестей последняя повесть, "Дом на набережной", стоит все же особняком. В ней автор отдал некоторые старые долги, оглянулся назад, расплатился за аплодисменты и литературные премии, сопровождавшие четверть века назад его первую книгу "Студенты". Похоже, что, не вернувшись к прежним темам, писатель не был бы свободен двигаться дальше: "Сейчас из романа "Студенты" я не могу прочесть ни строки. Даже страшновато брать в руки. Были бы силы, время и, главное, желание, я бы переписал эту книгу заново от первой до последней страницы," — писал не так давно Трифонов в небольшой статье, посвященной его знакомству с Твардовским.

И вот нашлось время, и желание, и силы, но автор не переписал старую книгу, а написал новую, обратившись к той же среде, тем же ситуациям и временам. Его новая книга как бы переглядывается со старой, многое кажется нарочито подчеркнутым. Вряд ли это сделано для читателя. Думается, автор вполне свободен от иллюзий по поводу долгожительства его полудетского романа. Это расчеты с прошлым, продиктованным, навязанным молодому писателю свой идеологический рисунок; это расчеты с самим собой, выплата по вексялям

четвертьвековой давности, распрямление и разрыв с диктатом времени, с нормативами минувшего и нынешнего дня. "Долгое время, — вспоминает Трифонов в брошюре "Продолжительные уроки", собравшей его заметки о литературном творчестве, — в сороковые и пятидесятые годы каноническим в нашей литературе был жанр эпического романа. Все писали толстые книги... Авторы бесперебойно вязали длиннейшие романы-чулки...".

Вот и молодой писатель Юрий Трифонов связал в 1950 году свой первый чулок, ничуть не хуже, чем это получалось у опытных вязальщиков из ССП. Даже лучше: ярче узором, с живой студенческой речью, точными черточками послевоенного быта, который еще не ощущался как каверзная, чреватая подвохами среда. Но чулок есть чулок: форма задана, вяжется на четырех спицах — и все тут. Не имеет смысла сегодня спрашивать с автора, почему он не воспротивился тогда чулочному канону. Но стоит вспомнить, что это был за канон.

Предполагалось, что на основе самого передового мировоззрения произведения вызревают только самые лучшие. С мировоззрением все ясно, вот только, может быть, у кого из современников мастерства недохват — на то есть учеба у классиков. И во множестве плодились книжки: "Мастерство Гоголя", "Мастерство Пушкина", "Мастерство Чехова", "Мастерство Некрасова". Мировоззрение же у классиков оставляло желать лучшего — и тут учиться было вовсе нечему. Родившись до исторического материализма, они во множестве совершали ошибки, за которые любой современный писатель был бы отправлен куда Макар телят не гонял, впадая то в прекрасныйдушный либерализм, то в пагубный мистицизм...

Повесть "Студенты", объемом — двадцать печатных листов — более сбивавшаяся на роман, была вывязана по выкройке, одинаково хорошо известной и автору, и читателям. Это было даже вопросом таланта и мерой умения создать нечто свое в пределах заданного чулочного фасона. И сетовать вовсе не приходилось, как не сетует же поэт, взявшись за сочинение сонета, что ему приходится укладываться в четырнадцать строк, связанных заданной системой рифм.

Взявшись за повесть о молодежи, автор заведомо должен

был показать борьбу передовых студентов с отсталым догматиком-профессором, перевоспитание талантливого, но порочного отличника-индивидуалиста сероватым, но здоровым коллективом, связать жизнь студентов с работой завода, чтоб молодая интеллигенция, не дай Бог, не оторвалась от класса-гегемона, и увенчать все это дело радостной разлукой двух любящих сердец, отправляющихся в равно удаленные от столицы места для высевания "разумного, доброго и вечного". Ну и по ходу дела непременно следовало быть тостам за великого вождя и учителя и праздничным проходам в колоннах первомайской демонстрации мимо высоких трибун.

В СОВАВТОРСТВЕ С НЕПРАВДОЙ

Все это юный автор добросовестно и вполне искренне исполнил, хоть и тогда знал, да и многие его читатели, жадно набросившиеся на эту все-таки живую и с предвещанием таланта книгу, знали, что ничего подобного в жизни не бывает, что институтская борьба грязна, полна интриг, чревата для проигравшего не только что сумой, но подчас и тюрьмой, что обвинения в "формализме" есть поход невежества против науки, что борьба с "низкопоклонством перед Западом" и "безродным космополитизмом" есть борьба антисемитов против еврейского участия в русской культуре... Но между автором и читателями действовало как бы непреложное, хотя и неписаное соглашение, отделявшее низменную и неправильную жизнь от высокой и правильной Идеи. Это у нас с вами, в нашем отдельном нетипичном институте хамоватый студент делает первый шаг в своей карьере, пуская под откос заслуженного профессора, это у нас с вами обсуждение персонального дела есть попытка убить наповал друга-конкурента. В идеале все должно быть иначе: в общежитии нет пьянства, грубости и нищеты, а процветают добродетельные уютные порядки, друг не предаст друга, а борется за него методом товарищеской критики, профессор, выгнанный за космополитизм, не останется с семьей без куска хлеба, как, напри-

мер, Борис Эйхенбаум, не помрет в тюрьме от инфаркта после "критики" любимых аспирантов, как Григорий Гуковский, — в идеале ничего этого не будет. От критики профессор встряхнется, перекуется на шестом десятке, признает превосходство советской литературы над классической русской и нынешней европейской и вернется к любимому делу, к своим студентам, оставив свои противные буржуазные замашки, из которых самые неприятные автору — игра в теннис (прогрессивные студенты предпочитают волейбол, в чем сказывается их здоровый коллективизм) и коллекционирование книг, посвященных классическому балету.

Этот свой роман Трифонов как бы не один писал, а в соавторстве со всей тогдашней нормативной литературой. В соавторстве с подлым временем, в безоговорочном доверии к которому был не один он воспитан.

Но когда сегодня берешь в руки эту одряхлевшую повесть, странно выворачивается наизнанку чулок старинной вязки. Ярко заявленные симпатии автора разделить нынче невозможно. Положительный герой, Вадим Белов, несмотря на лучшие рекомендации со стороны автора и парткома, туп, сер и определенно нечистоплотен — валит приятеля, донося комсомольскому бюро о его интимных обстоятельствах, конечно, из желания друга детства усовершенствовать, а все же никак не отделаться, читая нынешними очами, от мысли, что двигатели тут зависть и ревность: друг-то и талантлив, и счастливый соперник в любви. Зато неожиданно симпатичен оказывается злодейский формалист профессор Козельский, его нелюбовь к современной советской словесности (вспоминая ближайшие к нему по времени образцы Бабаевского, Бубенова и Караваевой) и желание воспитывать студентов на классических произведениях вызывают сочувствие. Точно сквозь заданный узор проступает некий подлинный жизненный сюжет, вдруг прорывающийся в авторской тревоге по поводу молодого студенческого карьеризма, правда, врученного, чтобы не выйти из канона, не положительному тупице Вадиму, а талантливо-отрицательному индивидуалисту Сергею Палавину, заботливо догруженному для убедительности еще и чертами пошлого соблазнителя и склонностью к плагиату.

Автор еще не доверял своему собственному знанию жизни, а оно уже было, и напоминало о себе в разных неожиданных местах и обещало взорвать канон и вернуться к лихим послевоенным проработочным кампаниям, свирепствовавшим, как мор, в учреждениях, вузах, редакциях, школах и едва ли не в детских садах. На трех проработочках, как на трех китах, стоит первая трифоновская повесть. Нагрубившего профессору студента Лагоденко увещевает Вадим: грубить нехорошо, это ясно, поскольку нарушается дисциплина. Ну там вспылит, сказал резкость, извинился, что могло бы быть понятно с простой человеческой точки зрения, — это канонический положительный герой категорически отвергает: "Действуй законно, заяви в комсомольское или партийное бюро, выступи, доказывай! Вот же как надо делать..." Это подстрекательство к гражданскому истреблению зануды-профессора не остается не услышанным, оно подхвачено парткомом, осуществлено Ученым советом и сам Вадим, конечно, в первых рядах. И с другом-соперником расправляется он по изложенному выше рецепту, организуя комсомольское судилище по первому разряду. Но вдруг — о, что за приглушенные, но живые голоса доносятся до нас вдруг! Это голоса жертв положительного героя-доносчика. Говорить им неудобно, шершавый канонический чулок, как кляп, торчит у них во рту, но прислушайтесь к этим намеренно заглушаемым автором голосам, ибо это голоса самой жизни.

Вот профессор Борис Матвеевич Козельский, истребляемый за книжку о Достоевском. Представьте себе бедолагу-литератора, умудрившегося выпустить книжку о Достоевском в 1948, например, году, и удостоенную погромных статей в "Известиях" и "Литературке"! Да знает ли, может ли представить себе, что это значит, любой его западный коллега, мирно жующий из года в год свою филологическую жвачку и лениво интригующий время от времени против своего декана? А ведь это, милостивые государи, едва ли не каторгой пахнет! Вот он приходит, уже после обряда гражданской казни, к своему начальнику, бывшему студенческому товарищу: "Скажи, — спрашивает он, — ты тоже веришь всем этим ярлыкам? — безыдейный эстет, формалист, низкопоклонник...

Смешно, что человек, который знает меня сорок лет, послушно повторяет всю эту пошлую трафаретную ерунду... Смешно, что он растерял все слова и только бормочет невразумительные фразы из протокола".

Стоит перед собранием ("давай подробности!") разоблаченный индивидуалист Сергей Палавин. И вдруг — какая горячая защита своего права на свою жизнь! "Я отказываюсь вам отвечать, потому что вы неоправданно вмешиваетесь в мою личную жизнь... Это низкое любопытство... Я отрицаю этот тон, эту оскорбительную манеру, ... это высокомерие и ханжество одновременно...".

Но в первой книге автор не берет, не решается, оставаясь на поводу у канона, взять сторону затравленных одиночек. Он, автор, по обязанности стоит на стороне здорового коллектива. Чулок связан и отложен в сторону. Но звучащие живые голоса, но жизненный опыт и нажитое творческое мужество заставили Юрия Трифонова двадцать пять лет спустя вернуться ко временам и героям его послевоенной студенческой молодости.

"КЕКС", "БАТОН" И ДРУГИЕ

Кто наблюдал, как заботливо и непросто подбирает Трифонов во всех своих повестях имена и отчества персонажам, не сочтет, конечно, случайностью, что героя повести "Дом на набережной", как и главного героя в "Студентах", зовут Вадимом. Там был Вадим Белов — здесь Вадим Глебов. Похоже. Есть схожие биографические детали: возвращение из армии, послевоенная бедность: "Вадим целый год проходил в гимнастерке и только ко второму курсу сшил себе костюм и купил зимнее пальто", — так в "Студентах". У нового героя та же подробность получает дополнительный смысл: "Он ходил в старом армейском кителе не только потому, что не было подходящего..., но и потому, что не должны забывать, что он п о б ы в а л т а м".

Намеком на отрицательную сущность честолобца Сергея в первой книге Трифонова было сообщение, что в клас-

се его детское прозвище было Кекс, — хорошего человека "Кексом" не назовут. О главном герое новой повести мы знаем, что школьные друзья звали его Вадька Батон. От своего тезки из "Студентов" получил он тягучий и вязкий, "никакой" характер, иначе расцененный писателем в зрелости. От тезкиного антипода осталось ему мучнистое прозвище, ревнивая зависть к чужому успеху и жажда карьеры, объясненная не как порочное желание индивидуалиста отколоться от коллектива, а как стремление выбиться из убогого мира "дерюгинского подворья", с хулиганами и коммунальными склоками, в мир недоступно-прекрасного "дома на набережной", где высокое начальство возносилось на лифте в свои отдельные хоромы, где "в поднебесных этажах" шла, по детскому его представлению, "совсем иная жизнь". И мечта о персональной стипендии не просто так греет сердце этого героя — это злое "страдание несоответствия": почему одним все, а другим ничего? — заставляет его поспешать к пирогу, отбрасывая по дороге и любовь, и угрызения совести, освобождаясь от всего, что отяжеляет на подъеме к "поднебесным этажам" жизни.

Несомненно, что-то чрезвычайно личное вложил писатель в этот наполненный трепетом детских воспоминаний, проступающих через жестокий взрослый быт, сюжет. Дом на набережной, где когда-то жил герой, уже виднелся на первых страницах давнего романа вместе с упоминанием о хождении по парапету набережной — опасному предприятию по закалке воли, которое теперь в повести, где, характерно для Трифонова, прошлое незванно вторгается в сегодняшней день, развернуто в подробный эпизод-воспоминание. "Увлечением этим домом на набережной и всем, что с ним было связано" наделен был герой предыдущей, год назад напечатанной повести "Другая жизнь".

Дорого, видно, достался автору этот дом и "все, что с ним связано" — житье в нем, товарищество и — после крушения отца — отъезд... Так важны незабываемые детские беды, существенны первоначальные оценки, что автор, рассказчик, вдруг раздвигает мерное, от третьего лица, повествование и, вне всякой связи с сюжетом, выходит на просцениум повести сам, точно он автор допотопного сентиментального романа, а не

умелой современной повести, пристаёт с лирическими отступлениями, постыдно лезет со своей детской ревностью к девочке, Соне Ганчук, которую герой полюбит или не полюбит только взрослым, не умеет скрыть своей неприязни к центральному персонажу, что для рассказчика просто неприлично, объясняет героев, так что на долю критики ничего уже и не остается: "Он был совершенно **н и к а к о й**, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть **н и к а к и м**. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом **н и к а к и м и**, продвигаются далеко"... И он же, рассказчик, обозначает две пружинки, изначально движущие **н и к а к и м** характером, — зависть и страх.

Можно подумать, что Трифонова, как во времена послегоголевского реализма, тянет вернуться к проблемам характера и среды. В работе над **н и к а к и м** характером качества среды, мучительная обкатка бытом видны отчетливей. **Н и к а к о й** — не подлец от природы, не отягчен стремлением к греху, и не без стыда. Не дави, среда, дай удержаться на поверхности **н и к а к о м у** человеку, дай прожить ему без подлости, не назначай невозможной платы за его скромные **н и к а к и е** желания! Многого ли хочет душа его, уязвленная завистью с детства, — достатка, комфорта, сносной работы, жизни без страха потерять едва нажитое... О Господи! в обыватели он хочет, в обыватели — не заталкивай его в подлецы!

УХВАТИТЬ, ЧЕГО НЕ ДОДАЛИ

Проживет же человек на Западе, не столкнувшись ни разу с дурным в себе, обнажаемым так легко! Ах и там, конечно, и там страх и зависть вертят человеком, и жизнь ставит к барьеру и вызывает на проверку. Но все же порог, о который можно споткнуться, поднят там выше, и, стало быть, больше надежд, что кому-то можно миновать его, не разрушив себя. Да к тому же ведь тому человеку и опоры же какие-то оставлены — кому Бог, кому хоть личное достоинство никогда непуганого человека. А Глебову-то, **н и к а к о м у** Глебову, ему за что уцепиться?

Вот и зависти первые ядовитые ростки с чего начинаются? Если у школьного дружка Левки Шулепникова штаны кожаные, как ни у кого, и заморский оглушительно стреляющий пугач, "с помощью которого можно было стать властителем дворов на всей набережной", если отчим у него грозный гебешник, отчего взрослые заискивают перед сопливым пацаном и просят похлопотать перед родителем за попавшего в беду родственничка — если у него все, а у н и к а к о г о — ничего, кроме смутного желания наверстать, чего не додали, ухватить — диво ли, что крутая волна советского быта не даст ему удержаться, захлестнет в подлещы. Жуткое новое неравенство породила эта жизнь, где ни купить, ни заработать, а только заслужить или достать.

А ты хочешь жить как человек, чтобы тихий кабинет, да поездка в Париж, да положение, да уважение?! А ты заплаги, заслужи.

Нет, в отличие от Вадима Белова, Вадим Глебов вовсе не хочет громить на Ученом совете своего профессора, научного руководителя и отца Сони, влюбленной в него и, как ему думается, любимой им. Ему только бы отмолчаться, побыть в стороне, пока улягутся грозные баталии, все эти битвы с формалистами и безродными космополитами, от которых его профессор Николай Васильевич Ганчук только морщится поначалу, кидаясь защищать любимого ученика Бориса Аструга, уж и по фамилии видно, что из космополитов: "А, галиматья какая-то!" Но галиматья сокрушает профессора и разносит в щепки непрочные нравственные укрепления Вадима Глебова. Сперва — чистая формальность — профессор — отец невесты, мать невесты работает тут же, в институте, да еще его же и в аспирантуру прочат, так нельзя ли, просит декан, переменить руководителя диплома, чтоб не вышло формального неудобства. "Тут западня, — сразу определяет Соня, которая в избытке наделена тем, чего вовсе нет у Глебова, — точным нравственным чувством. — Я бы сказала: послушайте, ведь это ужасно неделикатно". Но Глебов уже запутан, "костяной рисунок страха", как когда-то в детстве, когда Шулепинский отчим, гебешник, вытянул из него имена зачинщиков детской шалости, раскалывает, разлагает его изнутри,

и предательство становится неизбежным, неотвратимым, поскольку с самого начала оно, хоть и разлучает с Соней и видится безусловно постыдным, не кажется герою невозможным. Вот он сидит у постели умирающей бабки — везунчику, н и к а к о м у, везет и тут, умирает бабка, как по заказу, в тот день, чтоб можно ему было удержаться, оправдаться и не идти на Ученый совет, о котором один из друзей Ганчука предсказывает ему: "В четверг будет ваша казнь, Дима... Иногда и молчание собственное казнит". Вот он перебирает варианты: выигрыш, проигрыш, Соня, карьера, осуждение одних, одобрение других... И поскольку сам перебор оказывается возможным, значит, совесть спит, стыд можно и пережить, и плата за вход на "поднебесные этажи", где "совсем другая", такая, как у Левки, у Ганчуков, идет жизнь, будет заплачена непременно.

НЕЛЕПЫЙ, БЕССМЫСЛЕННЫЙ МИР

Страшное время послевоенных лет в "Студентах" было обряжено в литературную униформу. Теперь, в "Доме на набережной", оно выступило в неприглядной своей наготе, а сквозь него, из-за его спины вырисовывается кровавый призрак тридцать седьмого года, кого-то поселявший в недоступный глебовским мечтам дом на набережной — например, Шулепу, а кого-то выбрасывавший из него "куда-то к заставе", и "те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать" — так говорит о своем пережитом в детстве крушении рассказчик. Здесь он, здесь, корешок глебовского страха, никуда не денется теперь до конца жизни. "Два военных года закалили Вадима, научили его разбираться в людях, научили смелости — быть сильнее своего страха", — не про того Вадима это сказано, да и как бы не тем Трифоновым; это ему так смолodu не то чтобы казалось, а казалось, что так должно казаться.

Теперь одно только кажется важным писателю — рассчитаться с прошлым, рассказав, как оно было на самом деле. Чинные праздники в общежитии перечеркнуты картинами тяжелых безрадостных кутежей с непременно озлоблением и пьяной дракой в конце. Милые детские ухаживания.

каким полагалось быть в повестях о добродетельной советской молодежи, сменились рассказом о любви, с одной стороны неверной и горькой, а с другой, с Сониной стороны, всепоглощающей, всепонимающей и безответной.

Идет великое испытание бытом, "война, не знающая перемирия". И никого нет, никого, кто бы выдержал его до конца, ни среди жертв, ни среди победителей. "Мракобес" Козельский выглядел бы рядом с Ганчуком чистой жертвой, страдающей за свою приверженность старой культурной традиции. Ганчук же, автор скучных книг, "ни одну нельзя дочитать до конца", тиран и деспот до недавнего времени на факультете, закаленный рубака в литературных боях двадцатых годов — "ни колебаний, ни жалости". Уже раздавленный противниками, преданный любимым учеником, все продолжает свое: "А знаете, в чем ошибка? В том, что в двадцать восьмом году мы Дороднова пожалели. Надо было добить". Ах и этот, неплохой — заступился же, за что и сгорел, за Борю Аструга — человек нравственно слеп и болен нетерпимостью. И в минуту расплаты не понимает того, по каким счетам платит. Слишком часто употреблял он в своей жизни слово "борьба". И борьба вытеснила все другие формы поведения и взаимоотношений. В литературной жизни всем нашлось бы место, литературная борьба оставляет в живых только победителей. Победитель сегодня не он, но побежден он оружием, им самим откованным. По Трифонову сегодняшней день всегда расплачивается с прошлым. Платежи могут и запоздать, но они неизбежны.

Подонки, циник, на все готовый Левка Шулепников громивший Ганчука с трибуны, знает пьяное и шумное раскаяние: "Скоты мы, сволочи". Он-то знает, для чего распинаться с трибуны, — карьеры иначе не сделаешь, но карьеру делает не он, а н и к а к о й Глебов, а Левка вниз, вниз — до жалкого положения подносили возле мебельного магазина, до места привратника на кладбище, где похоронена Соня. Пропавший Левка уже тем милее рассказчику, что пропал, то есть расплатился. Расплатился и Ганчук: "Какой нелепый, неосмысленный мир! — догадался-таки наконец недавний обладатель непреложной марксистской истины

в последней свирепой инстанции. — Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит?.."

Ах, если б раньше, чем давать ответы, научиться задавать вопросы! Вся жизнь, может, выглядела бы иначе, не в борьбу бы ушла, в озлобление и озверение, а в размышление о смысле жизни, которое есть профессиональная обязанность гуманитария.

А в Глеbove живет стыд, темное желание забыть и вычеркнуть прошлое. Его нераскаянное, жданное благополучие, сбывшееся, но не принесшее радости, нависает над ним угрожающе — потому что прошлое всегда найдет случай спросить с настоящего...

Так в безрадостном настоящем гаснет эта повесть о послевоенном прошлом, о безмерном гнете уродливой жизни, загоняющей среднего, н и к а к о г о человека в подлецы, непременно в подлецы, потому что если каждый день есть война всех против всех и малейшее удобство жизни непременно должно быть завоевано с бою, у кого-то отбито, а осуществление скромной житейской мечты добывается глубокой стратегией, то в такой войне уцелют только те, у кого достанет сил отказаться в ней участвовать.

Никто горше Юрия Трифонова не написал о советском, простом, средних сил человеке, которому нельзя нынче быть мещанином, горожанином, обывателем, а непременно надо пропасть: либо от подлецов пропасть, либо, смирившись, жить в подлости и во лжи.

Д. БАЙКАЛЬСКИЙ

КАШКЕТИНСКИЕ РАССТРЕЛЫ

(Из тетрадей для внуков)

Вот уже тридцать лет кровоточит в моей душе воспоминание о воркутинском расстреле. Расстрел был массовый. Приговор, вынесенный местной "тройкой" НКВД, утверждался в Москве по списку. Сколько было в том списке жертв, и поныне остается тайной, схороненной в архивах. Приблизительно — девятьсот. А может, и больше.

Фамилии ста пятидесяти из них товарищи впоследствии восстановили по памяти. Со многими из них я был знаком по архангельской пересыльной тюрьме и по воркутинским лагерным баракам, в которых мы жили вместе зимой 1936—37 года, за год до расстрелов. Трое из казненных — Максимчик, Крайний и Липензон — были моими друзьями по одесскому комсомолу. А еще один — Григорий Баглюк — был моим близким, моим любимым другом все последние тринадцать лет своей жизни — продолжалась же она всего 33 года.

Не только приговор был утвержден списком, но и сами расстрелы производились целыми партиями, по пятьдесят человек в каждой.

Невиновность казненных установлена через два десятилетия. Она перед всем миром подтверждена тем, что само государство, чьим именем выносился смертный приговор, реабилитировало их посмертно. И обвинительный акт против них обернулся обвинением общества, в котором оказалось возможным такое массовое средневековое злодеяние. Поэтому, восстановив их гражданскую честь посмертно, их поторопились забыть, ибо обществу неприятно помнить имена, в которых оно слышит суровый и вечный укор себе.

Единственный честный ответ на этот молчаливый укор — раскрыть запытанное, придать гласности всю деятельность тайных судилищ. Скрывать ее — значит покрывать инквизиторов. Ни одно из последующих поколений не может отмыть руки от крови расстрелянных, пока оно не займется расследованием дел инквизиции, выносившей массовые приговоры.

В конце прошлого и начале нынешнего века целая страна, а за нею и лучшие люди всей Европы несколько лет подряд будоражили мир из-за несправедного приговора, вынесенного одному только человеку — Дрейфусу. А в нашей социалистической стране почти в середине этого высокогуманного века выносились приговоры по сходному и не менее ложному обвинению. Но — приговоры куда более жестокие, вплоть до смертной казни. И было таких приговоров не один, и не сто, и не тысяча. А сотни и сотни тысяч. Однако никто не взволновался.

Никто! Все совершалось при полном молчании общества, хоть и знали о каждом аресте и соседи, и товарищи по работе, и просто знакомые, так что число знавших было во много раз больше числа арестованных — а арестованные исчислялись миллионами. Единственное, что волновало знавших, — это тревога о себе: не придут ли сегодня ночью и за мной? И конечно же каждый, ожидавший ареста, твердо знал о себе, что он ни в чем не виновен, — тем самым он признавал невиновность других, арестованных ранее. Но даже себе он боялся это сказать, ожидая ареста.

Никто не отважился не то что заняться делом арестованного, как занялся Золя делом Дрейфуса, но хотя бы спросить на собрании тех, кто кричал: "распячь его!", не надо ли

мало-мальски разобраться, за что распинать-то? Нет, и распинали, и гвозди подносили молча.

Только жены да матери носили передачи тем, кто ждал распятия. Жены и матери оказались лучшей частью общества молчаливых.

В те годы людьми двигал страх — самое элементарное из чувств. Он привел миллионы людей к духовному крушению и внутренней нищете.

Прошли десятилетия. Сейчас в людях говорит уже не страх в его оголенном рефлекторном виде, как в 37 году. Наступило время разума. Но оказалось, что страх-37 имеет изотопы. Изотопы страха-37 оказывают действие на другие стороны человеческого организма. Подсознательная защитная реакция организма все та же — отстраниться, прикрыться рукой, сжаться в комочек, но реакция сознания, вырабатываемая новым изотопом, — иная. Уже не слабостью своею перед грозной машиной государства, не покорностью перед Исторической Необходимостью оправдывает себя поколение, не испытывшее страха-37, а самоновейшим, просвещенным, научным, трезвым здравым смыслом: тссс, тише, ибо шуметь некультурно; зачем интересоваться лагерями трудового перевоспитания — ведь туристский лагерь интереснее; не будем вмешиваться не в свое дело — все равно ничего не изменится; займемся спортом, искусством и наукой — нельзя же быть узким человеком; здравый смысл превыше всего — поэтому давайте забудем.

Вот и получается: одни и те же события заставляют некоторых обращаться к своей памяти, а других — отрицать пользу именно этой памяти. Ну что ж, великий русский поэт недаром сказал:

**Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего...**

Какое-то недолгое время люди, казалось, встряхнулись. Они жадно слушали закрытое и с тех пор исчезнувшее отовсюду письмо с речью Хрущева на XX съезде. Сейчас любой желающий может заявить, что и письма такого не было, и 37-го года не было. А нас, переживших тридцатые годы,

осталось мало. Свидетельское слово есть наше главное дело — мы просто не имеем права унести в небытие то, что знаем. Но мы не только свидетели, а и участники событий, и мы стоим перед судом внуков так же, как стоит перед ним Сталин со своими сообщниками и последователями. Устами неосталинистов он продолжает оправдываться и затыкать рот нам, свидетелям обвинения. Можем ли мы рассказывать только о механизме беззакония и страха, не раскрывая секретов синхронно связанного с ним механизма лжи и исторических подделок? Вот почему я не могу ограничиться одной лишь записью того, что пережил, видел и слышал, а вынужден записать и немного из того, что передумал, сталкиваясь со всеми подделками, на которые так ловок сталинизм, готовый к фальшивкам в любой области, от истории до экономики, правосудия и биологической науки.

Я обязан был написать и сохранить для внуков эти тетради.

Итак, прошла зима, и мы с Гришей сидим на берегу Юнь-Яги, бросая в воду камушки и беседуя о литературе, голодовке и прочих предметах.

— Я теперь вижу, — сказал Гриша, — что голодовка — дело не про нас писанное. Это западная штучка. Ах, суфражистки голодают! Ах, жестокое правительство! Набежит стая репортеров, газетам сенсация. А у нас и лагерь-то не весь прослышал. Даже на том берегу, на левом, наверное, не все знают. А на воле? Хоть бы через десять лет узнали!

Не сбылась Гришина надежда. Вот уже более тридцати лет прошло, а только несколько оставшихся в живых знают о воркутинской голодовке, хотя точное число участников ее и нам неизвестно. Приблизительно, триста-четырееста. Если я ошибаюсь, пусть историки доберутся до архивов и поправят.

— Знаешь, Миша, что мне ответил начальник спецчасти? Голодовка — это наихудшая контрреволюция. В советской тюрьме не может быть голодовок. Вы не выходите на работу — значит, бастуете. Вы не от государственной хлебной пайки отказываетесь, а государственную работу саботируете. Писать заявления имееете право, пожалуйста. Мы писали, а они чуть не на наших глазах подтирались нашими заявле-

ниями. Они нас сами без конца провоцировали на крайности. Что нам было делать?

— Пришьют вам дело, Гриша.

— Конечно, пришьют. Так не могу же я из страха отказаться идти на переговоры, раз товарищи посылают.

Гриша рассказывал просто, словно мы оба не понимали, чем дело пахнет. Мы не могли предугадать грядущих рек крови, но мы не сомневались — так, без отмщения, у сталинских человек не обойдется.

Шла перетасовка заключенных. Одних гнали сюда, других — туда. А назавтра снова: "Каменецкий, Дейнека, Липензон — с вещами!" Где-то свыше готовится очередное мероприятие, а ты сидишь на нарах и жуешь свою пайку, смутно чувствуя, что, может быть, сию минуту в одном из бесчисленных списков против твоей фамилии ставят птичку, обозначающую полет черт знает в какую даль, или крестик... Мы еще не знали, что он явится единственным крестом над могилой обреченного в эту минуту на смерть человека.... Вот уже тридцать лет, как я живу с этим ощущением: я — в списке.

Каменецкий, Липензон, Дейнека... Дейнека, его звали, кажется, Ваней, спал со мной рядом несколько недель. Студент, помнится, из Харькова. Милый, сердечный, тихий парень. Придя с работы, тут же брался за книгу. Может быть, кроме меня, никто и не помнит этого молчаливого юношу, имевшего мужество говорить (когда уж заговорит) то, что думает.

... Юнь-Яга бежала у наших ног. Белые облака летали в небе.

— Конечно, диктатура пролетариата не может быть шелковой, — сказал Гриша. — Она — ланцет, но ланцет обоюдоострый. Я много думал об этом последние месяцы. Сколько мы не виделись? Полгода? Больше?

— Чуть побольше. Эх, Гриша, рыжая твоя морда!

Между мужчинами объяснения в любви не клеются. Гриша усмехнулся:

— Мне ясно, начальники вообще не любят протестов. А тут массовый. Еще уголовники научатся, не дай Бог. Зря

боятся. Урки не научатся. Когда урка хочет избавиться от работы, он себе палец отрубает. Урка не протестует, он увиливает, а увилывать можно только в одиночку. Недаром одно слово протеста наказывается строже, чем полгода увилывания. Оно ведь тоже своего рода забастовка, но уркачей же за него не судят...

На этот раз, после многомесячной разлуки, я заметил, что Гриша стал как-то печальнее. И вроде холодней сделался со мной — пожалуй, я ревновал. Он очень сблизился с Матвеем Каменецким — старым донецким комсомольцем и нашим давнишним общим другом. Когда мы впрягались в бревно глиномялки, Гриша шел с краю, а Матвеем посредине, между нами.

Гришу пригнали на кирпичный в большом этапе политических. Среди них имелись и старые члены партии, люди немолодые и известные своим революционным прошлым. Грише было всего тридцать два года, и в партию он вступил не так давно. Но его уважали как никого другого. Это выражалось не в словесных уверениях, а в разговорах о нем в его отсутствие, в оттенках отношений, в том, как гордились его бесстрашием. Мне рассказывали такой случай. Его вместе с другими товарищами везли из Горной Шории в Архангельск в товарном вагоне — окошечки под самой крышей, забранные колючей проволокой. Вагон стоял на большой станции, возле него часовые. Мимо проходили люди, и какой-то голос произнес: "Вот, воров везут". Тогда Гриша вскарабкался на плечи товарищей и стал кричать в окошко, какие тут воры. Часовые угрожали, клацали затворами, но Гриша договорил все, что хотел, до конца.

С месяц или полтора пробыл Гриша на кирпичном заводе, потом его снова угнали на рудник, видно, для очередного допроса. Следствие по делу о голодовке началось. Заключенных пригоняли и угоняли, пригоняли и угоняли. Среди прибывающих я каждый раз встречал старых друзей. Сперва Сему Липензона, потом — Максимчика, того, что в двадцать втором году выбил каблуком стекла в ресторане у нэпмана. Я не удивился. Максимчик не мог не попасть сюда.

Сема Липензон не успел рассказать мне, за что его отпра-

вили на кирпичный. Много позже рассказали другие. Он работал каптером. Каптер — вторая после инженера должность, на которую, при всей любви к социально близким, невозможно назначить уркача: обкрадет каптерку. Даже если не захочет, остальные заставят. У них есть свои волчьи правила, именуемые законами. Закон гласит: вору и снабжай пахана. Пахан — должность не выборная, а достигаемая точь-в-точь как в стае зверей: самый сильный, самый жестокий головорез сам собою (или сам себя) делается вожаком.

Посланные от пахана пришли к Семе с требованием дать ему того и другого — сала, масла, сахару. Он отказал, он не воровал ни для себя, ни для других. Приходили не раз, грозили. Сема не сдавался. И они поступили по новейшему рецепту — они усвоили самую близкую им сторону политики. Можно убрать человека, не участвуя лично в мокром деле. Они пошли куда надо с заявлением, что каптер Липензон занимается агитацией, а также порвал портрет нашего вождя. Реле сработало вмиг. Сему сняли с работы, отправили на кирпичный, потом несколько раз вызывали с вещами туда-сюда и все же снова отправили на кирпичный.

Кирпичный, будучи штрафной командировкой, тюрьмой в тюрьме, имел еще и свою тюрьму, как бы третью степень заключения — так называемый изолятор. Туда сажали отказчиков (то есть отказывающихся работать). Сажали и за другие провинности. Под него отвели единственный на командировке барак с крепкой дверью и решеткой (под жильем строили землянки). Изолятор стоял особняком, прямо под вышкой часового.

Однажды на кирпичный пригнали знакомого нам паренька, харьковчанина Елисаветского. Незаметный, тихий такой паренек. В оппозиции он не участвовал, а попал, как Булаев-Чапай и многие тысячи других, в качестве заполнителя, подобно песку в цементе.

И вдруг, в лагере уже, он сделался верующим и прикнул к сектантам. Их в Воркуте сидела большая группа. (Сколько раз ни попадал я в лагерь, непременно заставал там сектантов. Видимо, в 1919 году подмосковная сектантская община поторопилась с присылкой овощей Совнарком-

му. Но и то сказать — они были только сектанты, а не провидцы!)

Молодой человек, горожанин, да еще еврей, в православных сектантах — одних это удивляло, других смешило. А он оставался серьезен. Он отпустил на своих побледневших щеках жиденькую рыжеватую бородку (все сектанты носили бороды) и без тени улыбки стал обращать нас в свою веру своим евангельским примером: ухаживая за больными, молча сносил оскорбления, называл рецидивистов "братья мои" и добровольно выполнял самые грязные работы, — но в конторе начальства и в шахте работать отказывался: сектанты считали, что уголь служит антихристу — на нем куют решетки для окон изолятора. По правде сказать, эти малограмотные крестьяне умели мыслить последовательнее иных ученых. Пусть материального ущерба антихристу от их отказа нет, пусть на их место найдется тысяча согласных помогать ему — они не станут!

Начальство пыталось провоцировать "стариков" — их все так звали — хитрыми вопросами: а может, и хлеб сеять не угодно Богу, ведь хлеб идет и нам, слугам антихриста? — начальству хотелось пришить сектантам агитацию против колхозов. Они отвечали:

— Бог велел сеять хлеб для всех. Это вы нас голодом морите, а мы так не можем. Мы за зло платим добром.

А в шахту все-таки не шли. За это их и загнали на кирпичный, а с ними и молодого "старика" — Борю Елисаветского. Он принял крест, но не староверческий.

х х х

В режиме кирпичного завода начались перемены. Всех нас, не бытовиков, ранее живших в землянках, заперли в изолятор. Днем нас продолжали водить на работу, мы по-прежнему разгружали вагоны с лесом и продовольствием и крутили глиномялку. Линия узкоколейки проходила в двух километрах от кирпичного, и мы носили бревна и мешки на плечах; другого транспорта в Воркуте еще не было. Лошадей привез-

ли в сороковом году — после того, как хорошо поездили на людях.

Пока Гриша был на кирпичном, мы держались вместе — он, Каменецкий и я. А сейчас Максимчик взялся учить меня, как брать на плечи мешок. Сын одесского грузчика, он брал мешок легко и красиво и шел под ним ровным пружинистым шагом. Я завидовал.

— Мишя! — кричал он. — Учись, пока я живой!

После "ш" он произносил "я": Мишя, после "р" — "и": кришя. По-одесски.

Его звали сумасшедшим, его считали недобрый. А какой был сердечный парень! У меня была грыжа, которую оперировали мне только перед самой войной. Она выпадала, когда я брал тяжесть. Максимчик постоянно помнил о моей болезни, старался подставить свое плечо вместо моего. Мешки с мукой он мне брать не давал, толкая под мешки с ячневой крупой, они немного полегче. Ячневой крупой-сечкой в основном и кормили лагерников повсюду, от Воркуты до Магадана.

В изоляторе нас на ночь запирали. При свете коптилки мы вслух, по памяти, читали стихи. Один товарищ, студент, прекрасно читал. Лучше всего ему удавался "Медный всадник". До сих пор мое восприятие пушкинской поэмы окрашено тюремными эмоциями 1937 года, я вижу властителя, построившего свою столицу на костях и пугавшего людей и после смерти. Страх пережил его.

... Миновали зима и лето. Они оставили во мне смутное чувство близкой опасности. Лагерник должен вечно трястись. Страх немедленного наказания лучше всего размягчает человеческую глину. Начальники хозяйств мнут, перемешивают и просеивают нас подобно тому, как мы управлялись с глиной, из которой лепили кирпичи для социалистической индустрии на диком берегу Воркуты.

Где-то там наверху в наших списках произвели очередное перемешивание и просеивание. И в одно скверное осеннее утро открывается дверь изолятора и вызывают нескольких человек. Я взял свой мешок и простился с Аркадием, Максимчиком и другими друзьями. А в этот самый час от узко-

колейки к кирпичному двигался другой этап. Мы сошлись у брода через Юнь-Ягу. Все те же лица, в грязи и копоты лагерных изоляторов!

— Гриша, тебя снова сюда? Откуда?

— С Усы, а тебя куда?

— Не знаю.

Конвойные попались хорошие ребята. Нас не стали торопить, под видом постоянного закуривания мы все вместе постояли несколько минут.

— Второй раз на кирпичный, так спроста не бывает. Ну, Миша, давай поцелуемся на прощанье.

Прошло много лет с того холодного утра, а передо мной все стоит широкоплечая фигура Гриши. Он опустил на землю свою корзину — он таскал не мешок, как все, а квадратную тростниковую корзинку, в ней удобнее держать книги, — и, крепко охватив ладонями мою голову, прижался жесткой щетинистой щекой к моей щеке.

Этапы двинулись — каждый в свою сторону. Я оглянулся и сумел различить Гришу в толпе людей, один за другим перепрыгивавших с камня на камень. Юнь-Яга начала замерзать, камни были скользкие. Гриша поскользнулся и, видимо, промочил ногу. В движении произошла заминка.

Когда все перебрались на противоположный берег, я уже не мог различить никого. Гриша! Гриша!

**Могильной тайной знаменита,
Стань, Юнь-Яга! Ты, речка слез.
Скажи, где класть плиту гранита.
Что столько лет на сердце нес?**

ПАЛАТКИ СМЕРТНИКОВ

Нас привели в Усу и загнали в большую, когда-то сшитую из двойного полотнища, а ныне рваную и заплатанную палатку. В два ряда шли двухъярусные сплошные нары из свежих сырых досок. Палатка называлась штрафной, из нее на работу не водили и никуда не выпускали.

В обоих концах прохода, тянувшегося посреди палатки во всю ее длину, стояли две печи, сделанные из железных бочек. Их топили днем и ночью, но шапки — мы спали в бушлатах и шапках — примерзали к изголовью. Печки служили и источником света. Чтобы поискать в своей рубашке, ты садился против огня. Можно еще проще — жарить рубашку, поднеся ее поближе к топке. Возникала, правда, опасность сжечь вместе с вшами и рубашку. Уголовники этой опасности не пугались: нет ничего легче, как украсть у контрика другую. Нас было почти поровну — блатных и политических.

Зачем нас привели сюда? Что происходит в лагере, за этими полотнищами? Что будет с каждым из нас через полчаса?

Против входа, в десяти шагах от него, стояла вышка. Вылезая по нужде, мы кричали часовому: "По малому!" И он отвечал: "Делай". Но удаляться за угол палатки не разрешалось, чтобы часовой не потерял тебя из виду. Благотельный север все замораживал и накрывал белой простыней.

Коротких дневных сумерек еле хватало, чтобы раздать нам еду. Раздавали раз в день, в те полчаса, когда на дворе брезжило — тут же у входа, рядом с кучей. Еду приносили на фанерных листах. На одном — склизкие куски отваренной в кипятке соленой трески, на другом — пайки хлеба, по четыреста граммов. Брать за товарища не разрешали — а вдруг он умер? Перед раздатчиком стояла живая очередь полуживых людей.

Нас считали по головам и совали еду в руку. Замерзшие, мы бегом возвращались в палатку. Иные ели в темноте, а иные (интеллигенты!) зажигали от печки лучину, отодранную от нар. Мыть лицо приходилось не слишком часто, а руки, липкие от трески, мы просто вытирали об одежду. Охотников пройтись по воздуху с санками и бочкой для воды находилось немало, но пускали раз в день по четыре человека. Сзади шел конвоир, он не давал говорить ни с кем из встречаемых. И мы не знали новостей.

Внутри палатки никакого начальство не заходило, и мы имели полное равенство и свободу в выборе занятий. Уголов-

ники знали одно — карты. Ими они обычно занимались ночью, а днем спали. Играли на пайку — случалось, на всю неделю вперед. Играли еще на валенки или пиджак кого-нибудь из соседей-контриков. Проигравший должен был в течение ночи украсть у фраера (как презрительно зовут уголовники всех не своих) проигранную вещь и отдать ее выигравшему. За неуплату карточного долга били железной кочергой. Я видел эту расправу. Все смотрели молча — когда пахан творит суд над нарушителем законов, вмешиваться не положено. Суду нельзя мешать. Если фраер вмешается, надо бить и его. Парнишка уже лежал без движения. Тогда кто-то из наших не выдержал и оторвал доску от своих нар:

— Ты, сволочь, если сейчас же не прекратишь, убью сразу!

Тяжело дыша, пахан полез на свои нары. Парня откачали.

Контрики в карты не играли. Располагая кусочком нар шириною в четверть метра, мы старались жить лежа. У моего соседа, еще недавно бывшего областным прокурором, имелось изорванное одеяло, на которое урки не пожелали играть. Им мы окутывались поверх всего, чем были одеты. Преступный прокурор сживал и в царской тюрьме — он вступил в партию задолго до Октября. Он знал кучу стихов и пел романсы Вертинского.

Между мной и задним полотнищем палатки оставалось одно место, но его никто не занимал: в прорехи обледеневшего полотна дуло снегом. Рядом с прокурором лежало несколько товарищей, спянных глубоко осознанной необходимостью защищать свои мешки, еще не опустевшие, как у старых воркутян. Этих товарищей только что привезли из Армении. Борьба за мешки кончилась победой организованности и воли, воспитанных революционной работой, над анархической атакой уркачей.

Мы не успели подружиться: армянскую группу всю разом вызвали с вещами. Мы думали — на рудник, мы сами жаждали попасть туда.

С вещами вызывали часто. Два-три раза в неделю у порога появлялись вохровцы, выкликали людей по списку и уводили. Куда? Мы не знали. А их выкликали на расстрел.

Невидимая рука смерти шарила среди нас, а мы жадно

жевали свой кусок соленой трески, до последней минуты уверенные, что вот наедемся и будем жить еще день, еще ночь. Завтра — снова кусок трески и сутки жизни. А вызовут — попадешь на рудник. Там горячий суп...

Такой зимы, как та, я еще не знал. Среди немой, необъятной, озаренной северным сиянием ночи раздавался лишь голос часового. В ясную погоду, когда пурга не слепила ему глаза, он кричал: "Давай, можешь отойти десять шагов дальше!"

Из нашей палатки за зиму вызвали приблизительно половину.

На кирпичном заводе, куда отправили Гришу, Максимчика и еще многих друзей моих, стояли две такие же палатки. В каждой могло тесно улечься на двухъярусных нарах сто двадцать человек. Но в них набили по двести с лишним, и заключенные пользовались нарами по очереди: полсутки одни лежат на нарах, а другие тесной толпой стоят в проходе — через двенадцать часов меняются местами. Кормили, как и нас, один раз в день.

Рядом с двумя большими стояло несколько палаток поменьше. На кирпичный согнали человек девятьсот, если не больше. За исключением семи-восьми "религиозников", все тут были коммунисты, вступившие в партию до революции или в первые ее годы.

Еще в августе 1937 года начальник Воркутинского лагеря Барабанов вместе с начальником оперчекистской части Печерских лагерей Григоровичем объездил все "командировки" (то есть лагерные пункты) Воркуты, и они выбрали кирпичный завод, как наиболее подходящее место для массовых казней. В сентябре туда начали прибывать этапы намеченных к расстрелу — Гриша был в первом этапе. В том самом, с которым мы встретились на берегу речки Юнь-Яги и несколько минут постояли вместе.

Прежде всего к смерти приговорили всех участников голодовки — около четырехсот человек. Затем приблизительно столько же, замеченных в разных провинностях — например, Сему Липензона, отказавшегося воровать продукты для уголовного пахана. Приговоры выносила областная

тройка: Григорович, уполномоченный из Москвы Кашкетин (он был председателем тройки) и начальник оперчекистской части Воркутинского лагеря Чучелов. 25-го января 1938 года Кашкетин прилетел из Москвы с утвержденным списком подлежащих смерти. Но расстреливать начали только 1 марта, а весь февраль что-то еще дополнительно "выясняли" и занимались своего рода психологической подготовкой. Шла она главным образом по ночам — ночь вообще была излюбленным временем суток у аппарата Сталина.

... Открывается дверь палатки (в палатках были устроены дощатые двери), вызывают трех-четыре заключенных, все харьковчан, знающих Кашкетина еще по работе на Украине. Кашкетин сидит в помещении охраны.

— Радзиминский, — говорит он, — вы знаете меня по Харькову?

— Знаю, — отвечает Радзиминский.

— Значит, вам известно, что я никогда не вру. Не думайте, что речь идет о каких-то сроках заключения. Речь идет о жизни всех вас. Мы будем вас расстреливать, как орехи всех вас расщелкаем. Идите в палатку на свое место и расскажите это всем!

Но в палатке Радзиминскому не поверили. Быть не может, чтоб расстреливали всех подряд! Некоторые даже смеялись, удивляясь тем, кто хоть на минуту готов был поверить Кашкетину.

В один из первых февральских дней в четыре часа утра вызвали с вещами и увели более двух десятков человек — в том числе Витю Крайнего, с которым я еще недавно сидел здесь же, на кирпичном, в изоляторе. Мы с ним не виделись до этого лет десять-двенадцать и в изоляторе успели побыть вместе всего несколько дней. Среди уведенных в этом же этапе был и Владимир Коссиор, старый большевик, брат известного Станислава Коссиора, бывшего долгое время секретарем ЦК компартии Украины. Хотя братья решительно расходились во взглядах, это не помешало Сталину после Владимира убить также и Станислава.

Среди назначенных к расстрелу был член партии Иохелес. Он рассказывал, что знал Кашкетина в молодости, они

вместе учились и в детстве даже дружили. Кашкетин вызывал для своих бесед многих — но Иохелеса ни разу. Ни разу не появилось у него желания поговорить с другом детства.

После ухода первой партии палатки дня два-три питались самыми разнообразными догадками. До 5-го февраля не вызывали никого, а с этого дня стали брать человек по пять в день. Пошел слух, что их направляют в Воркуту ("на рудник" — обычно говорили тогда), где недавно устроена новая тюрьма, куда и переводят вызываемых. Видно, и первый этап, в котором были Коссиор и Крайний, отправили туда же.

Так прошел февраль. Первого марта утром в палатку вошел вохровец со списком в руках. Он стал посреди палатки так, чтобы любопытные могли заглянуть через его плечо в список. Там — 50 фамилий, по 25 из каждой палатки. Листок озаглавлен: "Список этапа, отправляемого на шахту "Капитальная". Вызванных построили, велели сложить вещи на снегу, а самих увели.

Через час — снова такой же список на 50 человек: "Этап на рудник". Еще через час — третий: "Этап на Воркута-вом" (то есть на Усу, как мы ее называли). Пока шло прощание и обычная предэтапная суматоха, охрана успела куда-то унести вещи, сложенные на снегу заключенными из предыдущих этапов. Людям, оставшимся в палатках, раздали хлеб — начался обычный день с обычными заботами живых еще людей: хлеб, баланда, догадки, слухи...

Кашкетинские помощники стали удивительно часто заходить в палатки, распространяясь насчет новых этапов. Только месяц назад Кашкетин грозился расщелкать всех, а тут вдруг обещания этапов — на рудник, на Усу. И вдруг — приводят новых: с рудника, с Усы. Их стали расспрашивать, что они знают об отправленных отсюда, с кирпичного, о трех этапах. Они отвечали: "Ничего не знаем, никаких этапов от вас к нам не приводили ни первого марта, ни позже".

Куда же девались полтора человека?

Только сейчас заключенные в палатках на кирпичном догадывались о судьбе своих товарищей, увезенных первого марта. Между тем в новой тюрьме на руднике заключенные узнали о расстреле на другой же день. Им рассказал Баранов — один

из полтораста, увезенных в этом этапе. Он единственный из полтораста обреченных уцелел: конвой не смог "сдать" его на смерть из-за неправильно записанного отчества.

Этап, рассказал он, привели на Третий околоток (Третьим околотком назывался полустанок узкоколейки Уса-Воркута, тот самый, с которого мы носили на плечах грузы для кирпичного завода, в полутора километрах от него. Зимой, когда узкоколейку заносило, и она не работала, полустанок пустовал). Привели вохровцы и стали передавать по списку другому конвою — военному.

... Тут я должен заметить, что те, кого Баранов назвал военным конвоем, скорее всего, были спецкомандой, чьей специальностью был расстрел. С полустанка никуда дальше не водили, это мне рассказывали многие. О способе расстрела позволяет догадываться то обстоятельство, что все три "этапа" смертников, по пятьдесят человек в каждом, отправляли с кирпичного с интервалом всего в один час. Значит, расстреливали не поодиночке, а из пулемета. Это мне также подтвердили многие. При таком способе не все бывают убиты сразу, и палачи достреливают раненых. По всей вероятности, и не закапывали глубоко, а может, и просто заваливали снегом. В марте земля там, как камень. Выкопать в ней могилу на несколько сот человек при тогдашней воркутинской технике — лом да лопата — работа такая трудная, что на нее надо было отрядить человек тридцать-сорок здоровых рабочих, а такое предприятие не прошло бы втихомолку. О том же, чтобы истощенные до состояния полутрупов смертники сами рыли себе могилу, не могло быть и речи.

Продолжаю излагать рассказ Баранова. Когда при приеме-сдаче обнаружилось, что его отчество в списке сдающих не сходится со списком "приемщиков", начальник команды, не желая, видимо, чтобы в палатке всполошились (это могло бы задержать его работу, у него ведь был, как положено, план), приказал отправить неверно записанного заключенного на рудник, до выяснения. Вел Баранова вохровец. По дороге он сказал ему: "Ну, Баранов, твое счастье! Жить будешь". И Баранову стало ясно, что происходит на полустанке.

Баранов прожил еще 26 дней. Его расстреляли в тюрьме.

В какие дни проводились на кирпичном следующие массовые экзекуции, я не сумел выяснить. Знаю лишь, что одна из них была 8-го марта. Этим числом отмечена в документах о реабилитации смерть Гриши. По-видимому, к 27 марта на кирпичном убивать уже было некого, и в этот день расстреливали тех, кто сидел в тюрьме на руднике: В. Коссиора, В. Крайнего и многих других, кого в течение всего марта вызывали из палаток небольшими партиями. В воркутинскую тюрьму их водили для специальных допросов.

То была тюрьма невиданного доселе режима. Приведенного сюда человека заставляли снимать обувь перед входом — далее он должен был ходить в носках или портянках, а сапоги держать в руках. Холод в тюрьме был почти как на улице. Пуговицы на одежде и белье срезали.

Затем каждого по одиночке вводили в кабинет начальника тюрьмы Манохина, и он приглушенным голосом говорил:

— Вас, заключенный, привели в тюрьму военного времени. Разговаривать здесь разрешается только вполголоса. Все распоряжения администрации выполнять беспрекословно. За малейшее нарушение вас будут карать беспощадно. Вы меня поняли? Идите!

В камере новичка встречало гнетущее молчание, хотя она была набита битком. На его "здравствуйте" со всех сторон слышалось испуганное шиканье: "Тсс! Тише! Не шумите! Ради Бога, тише!"

Эти люди уже испытали на себе новый тюремный режим. Главным инструментом порядка здесь был карцер. Право отправлять в карцер имели и Манохин, и Чучелов, и Кашкетин — последний мог давать до пяти суток. Затем он отпускал в камеру на одну ночь и снова давал пять суток. Карцер представлял собой совершенно пустое помещение без нар и без печки. Температура здесь стояла как на дворе — двадцать, тридцать градусов: это ведь Заполярье, здесь бывают морозы до пятидесяти. Человек, брошенный в карцер, имеет лишь одну возможность сохранить себе жизнь: бегать. Бегать, а не ходить! Бегать — взад-вперед, без остановки. Бегать все пять суток без единой минуты сна. Можно лишь на минут-другую остановиться, прислонясь лбом (но ни в коем

случае не спиной) к стене. Затем снова — безостановочное кружение. Откуда силы берутся у человека, вот уже полгода живущего на голодном штрафном пайке?

Случалось, и не раз, что человек, обессиленный, падал на пол. Тогда входили надзиратели и связывали его по рукам и ногам: хочешь лежать, так лежи уж по-настоящему! На таком морозе связанный может выдержать недолго — он начинает просить развязать его, обещает больше не ложиться. Однако его держат час, два. Он встает. Он встает с отмороженной рукой или ногой. Эту пытку изобрел Чучелов. Таков был метод следствия, для которого сюда переводили тех, от кого хотели добиться особых показаний.

В карцере давали двести граммов хлеба и кружку холодной воды в сутки. Только что пришедшему кажется, что он не сможет пить ледяную воду на таком холоде, и он отдает ее "старожилу". Тот пьет с жадностью. А на другой день новичок убеждается, что без воды трудней, чем без хлеба... Теперь подумаем, сколько суток карцера должны были выдержать те, кого вызвали из палаток в первых числах февраля, а убили 27-го марта. Вите Крайнему и Владимиру Коссиору давали пять суток карцера, потом еще пять и еще пять. Мне называли фамилию еще одного человека, подвергавшегося особенно жестоким пыткам: Познанский, бывший секретарь Троцкого. Его истязали, требуя каких-то особых признаний. Сталин хотел добыть возможно больше материалов, дискредитирующих Троцкого, и главным образом в застенках, карцерах и тюрьмах он надеялся эти материалы добыть.

После 27-го марта, когда воркутинская спецтюрьма почти опустела, в камерах сидело лишь несколько "религиозников", которых судили отдельно, да несколько женщин. 8-го мая расстреливали женщин. Среди них была Роза Смирнова, жена одного из виднейших оппозиционеров, старого большевика Ивана Никитича Смирнова, и их дочь Оля. Оппозицию искореняли полностью, вплоть до дочерей — кровная месть Сталина шла дальше всех известных обычаев кровной мести. Женщин далеко не водили, стреляли тут же, у тюремной стены. Много знает молчаливая воркутинская тундра!

К весне на кирпичном заводе не осталось уже никого, и бытовиков, входивших в "обслужу" (повар и кухонные рабочие), перевели на рудник, строго-настрога приказав им держать язык за зубами.

Я хорошо знал одного из них — белорусского колхозника Малиновского, сидевшего в лагере "по указу". На кирпичном он топил кухонную плиту и таскал к палаткам баки с баландой. Он мне многое открыл. Из глаз его текли слезы, он размазывал их грязным рукавом бушлата. В бараке он боялся разговаривать, и мы выходили во двор, там он тихо рассказывал мне о виденном. Фамилию "Кашкетин" он шептал мне на ухо.

Остальное я знаю от людей, сидевших в палатках и в воркутинской спецтюрьме и чудом уцелевших. Один из них жив и поныне.

В том году революция начала свое третье десятилетие.

В том году, уже весной, из лагерных пунктов, расположенных вниз по реке — из Кочмеса, Абези, Сивой Маски и других мест, — шли в Воркуту экстренные, составленные по особым спискам, этапы. Шли, подгоняемые конвоем. Но некоторых конвой не успел переправить через вскрывшиеся речки, и подгоняемые не скоро узнали, для чего была такая спешка. Спешили — убить их. И кого успели переправить вовремя — убили.

В том же году, несколькими месяцами позже, в Котласской тюрьме слышали крики из окна:

— Передайте людям, я — Кашкетин! Я — тот, кто расстрелял в Воркуте всех врагов народа! Передайте людям!

Конечно, Кашкетин выполнял ясно очерченное задание своего начальства, а оно имело указание свыше. Таких уполномоченных разослали во все лагеря и тюрьмы, где сидели политические. Они провели тайную чистку партии с пулеметом в руках. А когда мавры сделали свое дело, их обвинили в превышении власти и расстреляли. Какую-то часть невинно обвиненных — совершенно ничтожную — даже реабилитировали, и они вернулись домой, чтобы молчать так же мертво, как те, что остались в тундре. Но Сталина они превозносили, приписывая ему свое освобождение. И они вполне пригоди-

лись в качестве героев произведений, реабилитирующих Сталина.

Воркутинский расстрел бледнеет перед тем, что было на Колыме. Воркута — лагерь небольшой. А может, и Кашкетин с Чучеловым работали хуже, чем Павлов и Гаранин, расстреливавшие коммунистов на Колыме.

За границей появился термин: убийцы за письменным столом. Но разве и нам он не годится? Разве у нас их не было?

Верховные жрецы древних ацтеков, читал я, сами резали в жертву богам пленных врагов. На вершине холма, у входа в храм, стояла жертвенная чаша — громадная каменная посуда. По каменным ступеням, ведущим от подножия холма, служители культа непрерывной чередой подтаскивали одного за другим связанных по рукам и ногам пленников. Подтащив жертву к чаше, ее переворачивали вниз головой, и верховный жрец, вооруженный жертвенным ножом, одним движением вскрывал пленнику живот, затем быстро просовывал руку к его сердцу — и живое, трепетное, еще содрогавшееся, вырывал из груди и бросал, пока оно еще билось, в каменную чашу. Боги жаждут крови из живых сердец.

На тысячу пленников жрецу приходилось тратить много труда. В двадцатом веке масштабы больше, а техника соответственно выше: не дикий нож в крови, а цивилизованный карандаш цвета той же крови. Убийца не видит убиваемого и не слышит его предсмертных хрипов. Сидя за письменным столом, он с трубкой в зубах обдумывает контрольную цифру. Каменные ступени Бутырского следственного храма ограждены широкой металлической сеткой, чтобы кто-нибудь из пленников не вздумал броситься с верхних этажей и тем лишить жрецов законной, оформленной бумагой и отмеченной красным карандашом жертвы. Богам нужны живые сердца.

БОРЯ ЕЛИСАВЕТСКИЙ

Боря Елисаветский провел свои последние дни в камере смертников Воркутинской внутренней тюрьмы, о которой я уже немного рассказывал.

Здесь, в последнем круге ада, встречали каждое наступающее утро надеждой на то, что сегодня придет решение об отмене приговора по кассационной жалобе, а каждую наступающую ночь — ожиданием вызова на расстрел. Но Боря не ждал ответа на кассационную жалобу, ибо он ее не подавал. Религиозники-"старика" (их еще звали "крестики") не пожелали писать в Верховный суд — они вообще не хотели писать, они отказывались подписывать что бы то ни было, игнорируя всю эту машину бесчеловечности — всю целиком, от начала до конца. И Боря вместе с ними не пожелал писать жалобу на решение суда, приговорившего их. Восемь человек, к смертной казни за саботаж. Ибо отказ от работы квалифицируется как саботаж, какими бы мотивами ни объяснял отказчик свое нежелание добывать топливо для страны социализма.

Суд над восемью религиозными отказчиками состоялся 17 июля 1938 года. Вел его Рулев, председатель выездной сессии Верховного суда республики Коми. Судили по статье 58-й за групповую контрреволюционную агитацию и за саботаж. Двое из подсудимых до той минуты, когда их ввели в зал суда, не знали ни друг друга, ни остальных шестерых обвиняемых, так же, как те шестеро не знали этих двоих. Однако суд решил, что они действовали общей группой, объединенной предварительным преступным сговором, что предусмотрено пунктом 11 статьи 58, увеличивавшим кару.

И приговорили их за групповую агитацию и саботаж к расстрелу.

Среди осужденных был один толстовец. Найдя, что протест не противоречит его убеждениям, он подал кассационную жалобу, и она была удовлетворена. Верховный суд РСФСР отменил дело с начала предварительного следствия. Такая формулировка означает, что Верховный суд не только признал приговор не отвечающим материалам обвинения, но и сами материалы — юридически несостоятельными. И хотя

жалобу подавал лишь один из восьми осужденных, отмена приговора, поскольку дело было групповое, автоматически распространялась на всех восьмерых.

Решение о кассации пришло через два с половиной месяца. Начальник оперчекистского отдела лагеря Чучелов вызвал их к себе и объявил, что смертный приговор им отменен.

Шесть "крестиков", воротясь в камеру, пали на колени, чтобы возблагодарить Господа за чудесное избавление от смерти, а Боря Елисаветский, не крестясь и не молясь, молча лег на свое место на полу. И ничего не изменилось для осужденных, ставших теперь подследственными: тот же смертный паек, тот же голый пол для сна, то же лишение прогулок, — все то же, как если бы они по-прежнему оставались смертниками.

Незадолго до отмены приговора Чучелов зашел как-то в камеру с вопросом: есть ли жалобы и заявления? Ему сказали — одна жалоба есть: нигде в мире не пытаются смертников голодом. А здесь перед вами, гражданин начальник, все больные, и болезнь у всех одна — дистрофия на почве голода. Так нельзя ли хоть хлеба прибавить? Чучелов ответил: "У нас на это нет средств".

Услышав, что у социалистической державы нет средств, чтобы добавить смертникам по куску хлеба, один из заключенных предложил:

— У меня, на моем личном счету, есть рублей сто, которые у меня забрали при обыске, — так покупайте нам хлеб на майденьги.

— А разве вам еще есть хочется? — заинтересовался Чучелов.

— Да, — ответил заключенный. — Это в первый день может случиться, что и есть не захочется. Но желудку не объяснишь, что его завтра убьют. Зачем же вы нас добавочно мучите? Мало вам?

— Ну, ладно, — сказал Чучелов, — подайте просьбу письменно.

Они подали. Через несколько дней им вернули их заявление с резолюцией: "Отказать".

Дистрофией и пеллагрой болели все обитатели камеры —

да и не одной этой камеры. Но "крестики", с первого дня своего в лагере ходившие в отказчиках, годами не получали иного пайка, кроме штрафного: четыреста граммов хлеба и миска баланды в день. Вдобавок они соблюдали посты, и, если случалось, что в постный день давали баланду, сваренную на говяжьих костях, — они ее не ели. Боря же не посты соблюдал — он и трески, главной пищи лагерника, в рот не брал. Он был убежденный вегетарианец. Это логически вытекало из его нравственных позиций.

Его религиозность не была внушенной с детства верой в Бога. Он сам выстроил в душе своей здание религии, отвергающей всякое насилие и кровопролитие. В фундаменте его религии лежала глубокая вера в человечность, в добро. Боря думал, что если все люди проникнутся идеей ненасилия, то это и будет Царство Божие на земле. Он не принимал пролития крови любого живого существа на земле. И от своих принципов не хотел отказываться, пусть бы ему пришлось умирать за них каждую ночь. А смерть подбиралась все ближе и ближе. Пеллагра — эта страшная лагерная болезнь, заранее запланированная системой штрафных пайков, — подползала к Боре неумолимо. Кто сочтет, сколько людей до и после него умерло от пеллагры в лагерях?

Боря не ел ничего мясного и рыбного — ничего, только триста смертных граммов липкого черного хлеба, тринадцать граммов сахара и две кружки кипятка. Меня, говорил он, можно обмануть, что суп сегодня на одних овощах, но желудок мой не обманешь. И верно — когда товарищам удавалось убедить его, что баланда не мясная и не рыбная, а овощная (и что за овощи — гнилая репа и мерзлая картошка), то все равно от второй ложки отвара его начинало рвать.

Так лежал он, весь распухший, беспрерывно мучимый всеми последствиями не названной ни в одном акте и ни в одной исторической книге лагерной болезни. Лежал на голых досках, укрываясь изорванным в клочья, перебивавшим на десятках плеч бушлатом наипоследнего срока: отказчик не заработал себе одежды даже второго и третьего срока носки; ему — самую грязную и заношенную рвань.

Он умирал в полном душевном одиночестве. С "крестика-

ми" у него оказалась общая судьба, но идеи у них были очень разные, хотя и он, и они считали себя христианами. Он был не столько последователь Христа, сколько его повторение, его новая ипостась — Христос сталинской эпохи. Может быть, он-то был бы Иошуа из Назарета, не попадись он в руки Чучелова, Кашкетина и других легионеров нового типа.

Боря не звал смерть, но и не боялся ее. Впрочем, он надеялся, что на этот раз ему удастся побороть ее. Он пребывал в странной уверенности, что пеллагра его не сломит, и часто повторял: "Ничего, я выдержу, у меня железный организм".

Железным был не организм, а дух Бори. Ему достаточно было бы сказать: "Соглашаюсь работать". Эти два слова могли спасти ему жизнь. Но они означали бы отступление от своих убеждений, от непризнания насилия, они были бы косвенным признанием власти чучеловых над собой.

До последнего дня Боря был в ясном сознании. Он помнил огромное множество стихов — он и сам до ареста писал стихи и, кажется, даже печатался немного. Своим слабым от голода, но ровным голосом он тихонечко читал сокамерникам стихи любимых поэтов.

А Чучелов не отступал от своего замысла: если высшие судебные инстанции отвергли затеянное им "дело" религиозников, он все равно приведет в исполнение отмененный приговор. Не пулей, так пеллагрой. Он их замучает в камере смертников голодным пайком.

Один за другим умерли трое "крестиков". Затем настала очередь Бори. В одну из ночей этот ясный мозг помутился. Боря вдруг вскочил на ноги и с нечеловеческим криком бросился к двери, стал стучать в нее кулаками и биться головой. Потом он упал на пол в предсмертных судорогах. Когда явился тюремный врач. Боря был уже мертв.

После Бори умерли еще двое. Когда из восьми бывших смертников осталось в живых только два, кто-то из высшего начальства узнал, что Чучелов держит в камере смертников людей, чей приговор кассирован, и ему пришлось перевести их на общее положение. Той же осенью Чучелов был снят и расстрелян, так же как Кашкетин и некоторые другие.

Но если верховный палач на каком-то этапе расстреливает, чтобы замести следы, своих прежних верных исполнителей — всех этих кашкетиных и гараниных, — суть его деятельности от этого не меняется. Она лишь приобретает еще более зловещий характер, превращаясь в настоящую цепную реакцию убийств. И эта цепная реакция все возрастает, шире и шире захватывая людей, подвергаемых казни, но никого не казнящих, — многотерпеливый и слишком быстро забывающий народ.

Так забыто на дальней окраине великой страны тело святого, чистого, непреклонного человека, смертью своей поправшего всю мощь насилия, — безвестного мученика Бори Елисаветского.

Имена мучеников могут исчезнуть из людской памяти, но дух сопротивления — бессмертен.

х х х

Меня вместе с несколькими товарищами вызвали из палатки на Усе поздней весной. Кашкетина и его команды уже не стало на Воркуте, и нас отправили не на кирпичный. Но и на рудник не послали, а пихнули на маленькую командировку вблизи Усы. Там нас было всего человек десять политических среди подавляющего множества уголовников. Я работал пилоправом и инструментальщиком, делал также топорища и черенки для лопат. Кроме того, научился работать "налево": вырезал деревянные ложки и продавал их — одна порция ячневой каши за одну ложку.

Я и мои товарищи еще не знали о том, что произошло в марте в каких-нибудь тридцати километрах от нас, на кирпичном, иначе мы бы, вероятно, не рискнули предъявить начальству требование отправить нас на рудник. Подумать здраво — требование странное. С каких пор заключенные могут сами избирать себе место заключения? Этак вы и Сочи себе скоро выберете. Но мы были наивные заключенные.

Настолько наивные, что и голодовку объявили. Мы хотели, чтобы к нам явился кто-нибудь из прокурорского

надзора. Разумеется, никто не явился. Да и где тут надзор! Администрация приняла домашние меры.

Для начала к нам в барак влетело несколько охранников с собаками. Начальник объяснил: вас надо обыскать, вы, наверно, прячете съестное, чтобы обмануть высшие органы мнимой голодовкой... Собаки рычали, охранники командовали: "Ложись!" — все, как положено в подобных случаях.

Затем начальник пришел снова и заверил нас, что нам все равно ничего не поможет, даже если мы будем честно голодать и все подохнем. А затем нас оставили в покое — десятерых на весь барак, но с часовым.

Мы голодали девять дней и убедились, что толку действительно не получится. Вдобавок обнаружилось, что один из нас сумел спрятать сахар и теперь втихаря сосал его. Бить слабака мы уже не имели сил. А он, плача, уверял нас, что надо сдаться, что голодовка напрасная. Нас повели — еле переставляющих ноги, но повели пешком, в Воркуту еще лошадей не доставили, — в сангородок вблизи Усы и осторожно подкормили в течение нескольких дней. Там все-таки были врачи (из КРТД), а не надзиратели. Потом нас отправили на рудник. Там мы узнали все.

Вот и сбылась мечта! Ты вновь на руднике, но тех, кого ты искал, нет. И не увидишь их никогда. А новых людей — сотни и тысячи. Все лето идут с юга этапы. Жадно присматриваешься к новичкам, расспрашиваешь их — за что теперь сажают, какие сроки дают, что слышать на воле. Да ничего нового, все тех же щей, но пожиже влей. Сроки дают добрые: десять и пятнадцать. КРТД уже не осталось, появилась новая контрреволюция: шпионы, террористы, пособники Запада. А на воле что слышать? Да ничего не слышать. Не слышно на воле ни звука, ни голоса.

Быстротечно воркутинское лето. Тундра спешно зеленеет, потом буреет, затем разом покрывается белым смертным покровом. Птице надо успеть вывести своих птенцов, научить их летать и потянуться с ними на юг. Морошке надо успеть зацвести, завязаться и принести свою водянистую ягоду. Она полезна цынготникам. В столовой поили настоем из хвои, а тех, у кого уже стали выпадать зубы, водили в

тундру питаться морошкой. Цынгой болели почти все заключенные, кроме самых свежепосаженных. Я сам выплюнул несколько своих зубов, застрявших в липком хлебе.

Над тундрой застряли тучи комаров. Земля дымилась. Казалось, и она спешит понежиться под незакатным солнцем. Она дышала быстро и сильно. Каждый ее клочок зыбился и волновался, не было сухого местечка, незаметные глазу ручейки тихо текли между сырых и неверных кочек. Камни попадались лишь на берегах рек.

Все, чем укреплены сейчас мостовые и тротуары заполярного города Воркуты, вырвано нами из-под земли, из-под этих непролазных болот. Под ними были шахты, а наверху, вдоль проложенных нами же дорог, густо-густо, от самого Котласа до Ледовитого океана, стояли тысячеверстной цепочкой лагерные вышки, словно высокие вежи, указывающие путь счастливой, изобильной жизни, как ее представляли себе люди Сталина.

Из моих старых друзей уцелел Аркаша — он не поддерживал дружбы ни с одним политическим, кроме меня. Может, это его и спасло. Доносчиком он безусловно не был. Он теперь работал прорабом на руднике. Гриша Баглюк, Матвей Каменецкий, Сема Липензон, Максимчик, Ваня Дейнека — все лежали в тундре. Пытаясь, как принято было у Сталина, сочетать устрашение с сокрытием фактов, начальство перечислило в развешанном по баракам приказе едва десятую часть своих жертв. Указывалось, что они расстреляны за контрреволюционный саботаж. Тут же, вперемежку с их фамилиями, назывались имена уголовников, осужденных за побеги и совершенные в лагере убийства. В их числе был и один знакомый мне рецидивист — вор и убийца. Будучи однажды трезвым, он излагал мне свои мысли о свободе.

В списке он фигурировал рядом с Баглюком.

А жизнь продолжалась, тундра цвела, бурела и покрывалась снежным саваном. И заключенные рыли котлованы в оползающей под лопатами глине, а когда глина, замерзнув, становилась тверже камня, долбили ее ломами. Аммонал еще не применяли. Чтобы отколоть с кулак грунта, ты должен был долбить ломом десять раз. Воркута росла и росла. Вор-

кута ширилась. Бараков становилось все больше. Вместо сплошных нар кое-где строили вагонку. Всюду развешили репродукторы, и мы слушали про родную широкую страну, как много в ней лесов, полей и рек. Реки-матушки, как Волга, мать родная. Реки-батюшки, подобные батюшке Тихому Дону. И соединяющие их каналы, созданные трудом таких человеческих масс, какие ни одному фараону египетскому не снились. Не снилась фараонам и система перевоспитания посредством штрафного пайка. В Библии рассказано, чем питались рабы. Когда евреям, которых Моисей вел по пустыне, надоели скитания, голод и жажда, они потребовали возвращения в Египет. И Моисей сказал им: "Вы рабы, вы хотите назад, к горшкам с мясом?"

Тем, кто в Воркуте имел мясной горшок, лагеря и ныне не кажутся злом. А Воркута вовсе не была ни самым голодным, ни самым суровым из лагерей. Она заслуживает памяти именно такая, как была,— обычный, средний лагерь, с бодрящим климатом, на одной из многих рек.

**... Кипит пурга. Предмайский приступ
Всех злей — но вот зима прошла.
Темнея, на снегу искристом
Кругом разлились зеркала.
В них на свою красу глядятся
Незаходящая заря...
Но зону облетает птица,
Подруге тихо говоря:
— А мы не сбились? Новоселы
Здесь жили прошлой весной.
Один, такой большой, веселый,
Всегда здоровался со мной.
Все опустело в эту зиму.
Гляди, палатки снесены!..
... И птицы пролетают мимо,
Пугаясь странной тишины...**

СЛЕДУЕТ ЛИ ЕВРЕЯМ УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

Статьи Стефана Цвейга, Макса Брода и Шарли Раппопорта написаны в ответ на вопрос, поставленный перед ними редакцией сборника "На перепутье", изданного в Париже в апреле 1939 года на языке идиш под редакцией Арье Чериковера, одного из руководителей "ИВО" (еврейского научного института). Вопрос, поставленный перед этими выдающимися немецкими писателями, десятилетиями стоявшими в центре европейской литературной и политической жизни, гласил: "Следует ли евреям активно участвовать в общей политической жизни, не должны ли они ограничиться одной лишь еврейской политикой, одними лишь еврейскими политическими и социальными проблемами?"

Насколько известно редакции, эти статьи никогда не переводились на русский язык и не переиздавались со дня их появления. Между тем, несмотря на несколько архаичную трактовку в них ряда положений, сама проблема, как нам кажется, в значительной мере сохранила свою злободневность и в наши дни.

Примечательно, что авторы публикуемых статей, будучи видными писателями, ни в чем прочем не схожи друг с другом и представляют совершенно разные мировоззрения. Стефан Цвейг — автор широко известных романов и художественных биографий — последовательный космополит, ассимилированный австрийский еврей. В отличие от него Макс Брод, друг и душеприказчик Франца Кафки, — убежденный сионист и сторонник собирания евреев в Палестине. И наконец Шарль Раппопорт — видный деятель русского и еврейского революционного движения, друг Жореса, в 20-е годы один из вождей французской компартии.

Стефан ЦВЕЙГ
Лондон

НЕ ВНЕШНЯЯ МИШУРА, НО ВНУТРЕННЕЕ ВОСПИТАНИЕ

На мой взгляд, вопрос о том — следует ли евреям участвовать в общей политической жизни и не лучше ли им заниматься только еврейскими делами — является одним из самых злободневных вопросов нашего времени. Вместе с тем я считаю, что он поставлен не совсем правильно. Для меня главное не в том — следует ли евреям вообще участвовать в политической и общественной жизни нашего времени, а в том — следует ли нам стремиться к в е д у щ е м у п о л о ж е н и ю в политической и общественной жизни.

Попытаюсь выразить свою мысль несколько яснее. Вопрос о том, должны ли евреи принимать или не принимать участие в общественной и политической жизни, не имеет смысла, так как ни один человек на свете не может нынче полностью отстраниться от политики. Не в пример недавнему прошлому — как это было двадцать или пятьдесят лет назад — политика не является больше одним из многих других факторов, таким, от которого можно держаться подальше (так как в продолжение всей своей жизни пытался поступать я сам).

Сегодня политика господствует решительно над всем, она властно проникает во все области жизни общества, врывается также в частную жизнь, она приобрела, что называется, демоническую власть над человеком. Не иметь политических мнений, убеждений, не думать и не воспринимать явления с точки зрения политической — это сегодня совершенно невозможно как для еврея, так и для христианина, как для миллионера, так и для пролетария.

Если бы евреи и пытались ограничиться одними лишь еврейскими делами, им бы все равно это не удалось. Если бы они даже 24 часа в сутки чувствовали себя только евреями, рассматривали все исключительно с еврейской точки зрения, то есть — насколько то или иное событие отразится на положении евреев, словом — ушли бы от общечеловеческой в чисто еврейскую проблематику, то уже одним этим мы бы лишь подтвердили и подкрепили гитлеровские декреты. Подобно тому как я отнюдь не в восторге от тех немецких сионистов, которые стали ими лишь в тот момент, когда у них отняли силой их пангерманский национализм, точно так же я считаю нелепым, чтобы в угоду Гитлеру мы выбросили за борт нашу глубокую тревогу за судьбу всего человечества, наше интернациональное, наднациональное отношение к общечеловеческим вопросам, надели бы по его приказу шоры, чтобы видеть в бесконечном мире, где мы живем, одно лишь еврейское начало.

Однако сколь бы я ни был за то, чтобы мы не дали запереть себя в узком еврейском мирке, не дали отстранить себя от общечеловеческих проблем, я все же считаю не менее опасным — и уже давно говорил об этом вслух, — чтобы евреи выступали л и д е р а м и какого бы то ни было политического или общественного движения.

Я знаю, конечно, что по законам справедливости и в соответствии с гражданскими правами человека, впервые провозглашенными еще полтора столетия назад, еврей вправе, как и любой другой, встать во главе даже государства. Однако положение сегодня таково, что при наличии равных с другими прав евреи имеют далеко не равную со всеми ответственность. Ответственность еврея возрастает в этих

случаях во сто тысяч раз в сравнении с другими, и я полностью убежден, что в настоящий момент даже самый гениальный еврей причинит гораздо больше вреда какому-либо делу или партии, чем принесет пользы. И куда лучше, чтобы на этом месте был самый посредственный вождь не еврей.

Таким образом, если я требую — и я уже сделал это, повторяю, много лет назад, — чтобы еврей воздержался, когда ему предлагают руководящее политическое положение (больше того, если его даже настойчиво просят об этом), — то этим я отнюдь не хочу сказать, что нам следует отказаться от того, чтобы служить той или иной идее, той или иной партии. Но, принимая во внимание нынешнее положение, еврей все-таки обязан сделать для себя вывод: служить — пожалуйста, но лишь во втором, в пятом, в десятом ряду и ни в коем случае не в первом, не на видном месте. Он обязан жертвовать своим честолюбием в интересах всего еврейского народа, над которым нависла такая страшная опасность, и я лучше не стану напоминать — какой огромный вред нанесли своему народу те евреи, которые выдвинулись в вожди и о которых другие народы думали — и, может быть, продолжают думать, — что "без них никак не обойтись", что им "нет замены".

Мне даже представляется, что нашей величайшей обязанностью является самоограничение не только в политической жизни, но и во всех прочих областях. Если кто-нибудь из нас добился влияния в мире — в качестве писателя или художника, — то он обязан подчеркивать свою роль как можно меньше.

Каждый еврей, достигший чего-то, должен пользоваться своим влиянием мудро, чтобы оказать помощь, в которой наш народ так нуждается. Пусть он радуется своему успеху, но не ищет детского наслаждения внешней мишурой. Единственная польза, единственный смысл, которые можно извлечь из трагического урока, выпавшего на долю евреев, — это их внутреннее воспитание. Лишь тогда эти наши невиданные страдания имели бы хоть какой-то смысл, если бы они побудили еврея совершать не шумные, а по-настоящему великие дела.

Макс БРОД

Прага

ЛЮБОВЬ НА РАССТОЯНИИ

Существуют вопросы, на которые не может быть ответа, можно только снять сам вопрос, сделать так, чтобы его не было. Я — сионист, то есть придерживаюсь убеждения, что, когда евреи будут жить в своем собственном государстве и это государство вместит если и не всех евреев, то хоть наиболее крупные слои диаспоры, тогда вместе с многими другими проблемами потеряет свою актуальность и остроту и жгучий вопрос о том — следует ли или не следует нам участвовать в мировой политике. Вопрос тогда лишится содержания, не о чем будет больше спрашивать. Кстати, таким — в известном смысле ироническим образом — и находит в конце концов свое решение немало человеческих проблем. Их "штурмуют" не фронтальной атакой — в серьезных конфликтах это чаще всего вовсе и не возможно, — а берут, так сказать, обходным маневром. Бывает, что они переносятся в совершенно новую плоскость и теряют свое значение, либо же ответ на них находится как-то "сам собой". Они уступают место другим проблемам, принимают новые

формы, вытекающие из совершенно новых обстоятельств, так что для их решения уже не нужно прямого ответа "да" или "нет". Иногда они находят такое решение, о котором никто раньше даже не думал, и потому оказываются на свалке истории.

Проблема участия евреев в нееврейской политике относится как раз к той категории проблем, на которые не может быть дан ответ, но которые со временем теряют свое содержание и значение. Ибо когда мукам наступит конец — до сих пор они еще ни разу не прекращались, а только видоизменялись, — они исчезнут вместе со всяким прочим злом, точно исторический курьез в документах прошлого.

Понятно, что мы не имеем права и не можем утешать себя сегодня надеждой на далекое будущее. Напротив, проблема рассеяния, а тем более вопрос участия евреев в политической жизни других народов обретают все большую остроту. Проблема эта отнюдь не становится проще, а, наоборот, — усложняется с каждым днем. Евреи едут в США, в Южную Америку, в Австралию, в тропические страны. Рассеяние растет, возникают новые еврейские меньшинства. И везде всплывет со временем и еврейский вопрос, везде возникнет антисемитизм — прямой результат нашей экономической, культурной и политической деятельности, куда бы мы только ни попадали. Как бы мы себя ни вели — уже одно то, что мы существуем, вызывает неприязнь к нам. "Вы все раздаетесь вширь", — упрекают нас народы. Жаль, что не обнаружен еще способ "раздаваться" в обратную сторону...

Если в прошлые десятилетия еще можно было дискутировать — является ли рассеяние благом или проклятием, не составляет ли оно "миссию" и "дар Израиля всем остальным народам", — то теперь такой спор уже совершенно невозможен, и все еврейские круги должны, казалось бы, ясно осознать: наше рассеяние — величайшее проклятие для нас самих, и ничего хорошего — никакой пользы и никакого мира — оно не приносит и другим. Лишь оказывая влияние из какого-нибудь центра, мы, может быть, и могли бы принести благословение для народов, как сказано в Пятикнижии. В рассеянии же — ни в коем случае. Достаточно

полистать газеты, чтобы убедиться в этом. Мы всюду гости и как таковые можем обладать не только самой доброй волей, но и наилучшими манерами — и все равно мы нежеланны, от нас хотят избавиться.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы заявить здесь со всей решительностью, что программа помощи еврейским беженцам, которую планируют конференция в Эвиане и лорд Уинтертон, с о в е р ш е н н о о ш и б о ч н а , на мой взгляд. Евреев хотят рассеять еще больше, их пытаются разбросать повсюду небольшими группами, но рано или поздно их все равно хватятся. Вместо того чтобы объединить еврейский народ, их рассеивают по всему свету, так что скоро не будет уже ни одной страны, сколь угодно малой, которая не ввела бы законов против иностранцев.

Потому что времена уже не те. Народы и государства вступили в эру империалистических стремлений. Если в дни куда менее развитой государственности XIX века еще можно было выдвигать теорию ассимиляции и еврейской миссии, то эта теория потеряла всякий смысл в эпоху, когда народы все тверже сплачиваются, считая — правильно или неправильно, это вопрос другой, — что они смогут завоевать или отстоять подобающее им в мире место лишь при помощи самых радикальных мер, вроде дирижирования народным хозяйством, монополизации капитала или государственного социализма. Земной шар стал меньше. О технических и о духовно-психических последствиях этого процесса можно прочесть в потрясающем труде Альфреда Вебера: "История и социология культуры" (Лейден, 1935). "Человек Запада, — пишет автор, — отброшен к самому себе в мире, весьма и весьма ограниченном, в котором он не может больше путешествовать куда глаза глядят, где его стремление к экспансии приведет, может быть, лишь к одному — к его полнейшему разрушению".

В таком накаленном мире, где бурно развиваются самые дурные инстинкты, где сталкиваются самые непримиримые интересы, некоторые апостолы универсализма упорно повторяют истасканные идеи еврейской "миссии". Эти теории не годились уже тогда, когда выступил Теодор Герцль —

этот истинный и великий пророк. Теперь же нужно изо всех сил зажмурить глаза, чтобы не увидеть, что нас, евреев, неминуемо раздавят народы, восплававшие воинственным духом национализма, если мы сами не подумаем о себе и не отступим заблаговременно. Именно сейчас, когда раскаленный добела империализм фашистских государств вот-вот свергнет мир в катастрофу, когда остальные страны, все-таки отстаивающие свободу и человеческое достоинство, должны, разумеется, тоже крепче сплотиться, именно сейчас, когда мир становится все мрачнее и зловещее, евреев забрасывают небольшими горстками куда-то в новое рассеяние. Хоть волком вой!

Я не люблю жалоб. Я предпочитаю помогать и указывать на какой-нибудь выход из положения. Ясно, что из некоторых государств евреям нужно выехать во что бы то ни стало. Понятно также, что они благодарны за гостеприимство, за человеческое отношение к ним в тех странах, в которых человечность еще не совсем исчезла. Однако по-настоящему с п а с т и евреев можно лишь тем, чтобы дать им возможность иммигрировать в массовом порядке в Палестину или в другие области, между которыми и Палестиной должны быть установлены государственно-правовые отношения. И так как на всем земном шаре предстоят большие переселения, то следовало бы, может быть, поощрять националистически настроенных палестинских арабов к выезду в арабские страны — при активной финансовой поддержке евреев и англичан. Это будет в интересах самих арабов, а также в интересах самой страны, столь нуждающейся в мире. Тех арабов, которые предпочтут остаться в Палестине и сотрудничать с евреями в деле строительства страны, необходимо всячески приветствовать и относиться к ним наилучшим образом. Евреев, для которых все-таки не окажется места в самой Палестине, следовало бы поселить в другие области компактными массами. Эти области можно было бы связать с Палестиной в одно государственно-правовое целое, хотя бы географически они были расположены и на известном расстоянии от Палестины. Только тогда, когда евреев останется в рассеянии не больше, чем, скажем, итальянцев

или чехов, — лишь тогда еврейский вопрос найдет свое решение.

Но как быть до тех пор? Каковым должно быть отношение евреев к участию в политической жизни, которого им никогда не избежать, если только они намерены сохранить чувство собственного достоинства и уважение к самим себе?

Вопрос очень и очень опасный! Чтобы продемонстрировать это наглядно, я предлагаю вообразить на минутку, что было бы, если бы Леон Блюм случайно остался премьер-министром, когда Франция отказала в помощи чехам, так надевшимся на свой союз с Францией и на французскую помощь? В те дни, когда Прага, обманутая и оскорбленная, искала — на ком бы сорвать накопившуюся обиду. Я даже не решаюсь нарисовать такую картину...

Очень опасно для евреев вмешиваться в политическую жизнь других народов. Правда, самим этим народам участие и лидерство евреев нередко приносит немалую пользу: Дизраэли — англичанам, Гамбетта — французам (если только правда, что он был евреем). И разве это не эгоизм с нашей стороны — думать лишь об опасности для нас, а не о пользе, которую немало великих еврейских умов приносит человечеству, народам-хозяевам?

Однако вопрос этот куда сложнее. Вопреки утверждениям антисемитов, не подлежит сомнению, что еврейский народ — народ мира, что он полон желания служить идеям человеческого братства (в определенных случаях он даже готов пожертвовать собой ради этих целей). Это заложено в универсальном характере евреев ("Рахманим бней рахманим" — "Милосердны испокон веков"), но быть такими — это и в их интересах, потому что там, где народы сталкиваются в войне, там прежде и больше всего страдают они, евреи. Поэтому-то нынешняя империалистическая эпоха и столь опасна для нас. Поэтому-то от нас и требуется совершенно новая ориентация — так как я ее вкратце изобразил — политика собирания и объединения еврейства.

Итак, должны ли мы отстраниться от движений, стремящихся смягчить чреватые войной противоречия между народами (путем борьбы, например, за социальную справедли-

вость или против пророков капитализма)? Разве это не противоречит нашим самым сокровенным душевным порывам, нашему религиозному долгу? Разве это не противоречит вместе с тем также интересам нашего народа, который может развиваться и процветать только в условиях мира и человечности?

Нас так и подмывает сказать: да, да, участвуй в мировой политике! Однако не менее властен и окрик: "Нет! Такое участие нас непременно раздавит и уничтожит".

Я искал выход из этой дилеммы в понятии "любви на расстоянии". Я развил это понятие в своем романе: "Женщина, которая не обманывает", а также в моем биографическом труде "Генрих Гейне". Ведь Гейне — наилучший пример еврея, всю жизнь сжигавшего себя во имя великих политических проблем человечества. На примере Гейне и при всем глубоком уважении, которое я к нему питаю, я пытался обнажить блуждания великой еврейской души и ее слишком, увы, позднее прозрение.

"Любовь на расстоянии" — понятие диалектическое. В нем таятся внутренние противоречия. Ибо там, где любовь, там ведь хочется преодолеть расстояние. Там же, где расстояние строго соблюдается, там любовь отмирает. И тем не менее для евреев нет в вопросе участия в нееврейской политике лучше ответа, хотя он и нелегкий, а главное — требует большого такта. Противоречия эти додумать до конца нельзя, но жить с ними можно вполне. Жизнь вообще состоит большей частью именно из таких противоречий. Хоть мы их логически и отвергаем, но все-таки живем с ними. "Мягкая гибкость — это свойство жизни, жесткая твердость — свойство смерти", — говорит великий Лао-тце.

Правда, принцип политического поведения должен все-таки обладать известной твердостью, а именно: надо всегда знать, где его применить, он не должен расплываться в диалектическом тумане. Новая дилемма! "Любовь на расстоянии" — не раз и навсегда данный рецепт для всех случаев жизни. Это понятие может служить лишь путеводной нитью, оно может указать лишь на общее направление. Выражаясь более конкретно, я бы сказал так: еврей не должен и не

может упускать из виду общечеловеческие политические проблемы, но он должен ограничивать себя, воздерживаться. Он должен знать, что совет, который он в состоянии дать другому народу или всему человечеству, — пусть он и будет субъективно какой угодно искренний — все же столкнется неминуемо с объективными факторами, не нашими, от нас не зависящими и не всегда нам понятными — там, где речь идет о психических состояниях, не допускающих взвешивания и измерения. Воздержаться, но не отходить в сторону! Воздержаться — это значит: не стремиться к лидерству или к наградам в чужой политике, но действовать с сознанием ответственности, открыто, ясно, отнюдь не тайно, за кулисами. При этом помнить всегда, что речь идет о далеко не проверенных опытах, отчего их и нужно проводить с величайшей скромностью. Помнить, что свои величайшие подвиги на благо человечества еврейский народ совершит тогда, когда мы возродим нашу еврейскую государственность в своей собственной стране. Именно тогда весь этот вопрос о нашем участии в чужой политике не будет больше нуждаться в ответе, он просто отпадет сам собой.

Шарль РАППОПОРТ
Париж

ЕВРЕЙСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ И "АРИСТОКРАТЫ ДУХА"

Я пишу эти строки в ноябре 1938 года, когда в некогда культурной Германии льется еврейская кровь, горят синагоги, грабят еврейские магазины, арестовывают, пытаются и доводят до самоубийства тысячи ни в чем не повинных евреев. Трудно в такое мрачное время быть объективным. Еще труднее следовать совету великого еврейского мыслителя Баруха Спинозы: "не плакать, не смеяться, а понимать".

И тем не менее долг мыслящего человека — попытаться понять трагедию еврейского народа, попытаться найти если и не прямой выход из невыносимого положения, то хоть надежду на то, что такой выход возможен. Вот такую попытку я и постараюсь сделать в меру своих сил.

Историки французской революции обозначают понятием "абсентеизм" отрыв правящих кругов — в данном случае французской аристократии — от работавших на нее народных масс. Французская знать бросила на произвол судьбы крестьянские массы, ради веселого времяпрепровождения при Версальском дворе. Еврейские "аристократы духа" оторва-

лись от еврейских масс, которые, правда, на них не работали, зато — еще хуже — страдали из-за них, бросили их не ради веселого времяпрепровождения, а ради того, чтобы принять участие в общеевропейской культурной жизни.

Как объяснить еврейский "абсентеизм" и к каким он привел последствиям?

Мне вспоминается при этом такой случай. Когда известный еврейский деятель и мой близкий друг Хаим Житловский (который вместе со мной основал в Берне "Союз русских социалистов-революционеров", из которого выросла в дальнейшем партия эсеров), когда этот пламенный и искренний патриот убеждал меня дружески: "Будь кем только хочешь: социалистом, коммунистом, анархистом и так далее, но в первую очередь будь евреем, работай среди евреев, еврейская интеллигенция должна принадлежать еврейскому народу", — я, при все своем уважении к этому близкому другу и в то время также единомышленнику, отнесся к его словам иронически.

Как всякий передовой русский и европейский социалист, я относился резко отрицательно ко всякому национализму, который в последней четверти прошлого века, а также позднее был в общей политической жизни органически связан с реакцией и человеконенавистничеством, с антисемитизмом и шовинизмом. Вдумываясь глубже в философскую основу национализма, я встал на точку зрения известного русского революционного мыслителя П.Л. Лаврова. В своих знаменитых "Исторических письмах" он доказывал, что национализм — это, в сущности, область "культуры", обычаев и традиций, подлежащих переработке "критическим мышлением", которое одно лишь творит живую историю, творит прогресс. Это неперемное условие, но в то же время и результат физического, интеллектуального и нравственного развития.

Я иронизировал над Хаимом Житловским, уподобляя его привязанность к еврейству любительству антиквара, для которого бесконечно дорого все то, "что старо". Я никогда не был ни ассимилятором, ни еврейским националистом.

Ассимилятор смотрит на еврейство, подобно Гейне, как

на несчастье ("Иудаизм — никакая не религия, а несчастье"). Националист, наоборот, смотрит на еврейство, как на счастье и в вый результат истории, который нужно хранить вечно. Я же смотрел на еврейскую нацию и на ее культуру, как на исторический факт, с которым надо, конечно, считаться, но в котором — как и в любом стихийном и историческом явлении — хорошее тесно переплетается с дурным, как на исторический факт, но отнюдь не как на исторический идеал. Так — или примерно так — думает каждый еврейский интеллигент, отдающий свои силы борьбе за социализм, за революцию или даже посвятивший свою жизнь науке, если, конечно, он не ассимилятор.

В моем мышлении, а также в моей жизни были, однако, и другие моменты. Когда к концу прошлого столетия разгорелась борьба вокруг дела Дрейфуса, а над Францией нависла угроза активного антисемитизма, я как-то сказал Жоресу: "Как социалист и революционер, я забываю, что я еврей, но, когда антисемитский зверь поднимает голову и объявляет войну еврейскому народу, я мгновенно вспоминаю, что я еврей, и требую с своей доли страдания, обрушившегося на мой народ".

То же самое, лишь в гораздо большей степени, я испытываю и нынче. Давайте проведем небольшой теоретический анализ и рассмотрим причины "абсентеизма" еврейской интеллигенции.

Как сами евреи, так и неевреи рассматривают еврейство обычно как религиозную группу, и потому каждый еврейский интеллигент, порвавший с религией, порвал одновременно и с еврейским народом. Я, разумеется, говорю не о евреях карьеристах, перебежчиках, перешедших на нееврейскую сторону, чтобы лично избежать преследований, а то и сделать карьеру. Таких евреев — легион. История больно наказывает их теперь, отнимает у них всякую возможность устраивать как-нибудь свои дела. Гитлер и Муссолини не прощают им даже малейшего намека на еврейское происхождение.

Переход в лагерь привилегированных происходил отнюдь не по убеждению. Генрих Гейне как-то сказал в шутку:

"Если бы можно было жить на ворованные серебряные ложки, я бы, пожалуй, не перешел в христианство"... Историк социализма Франц Меринг объяснил переход в христианство отца Карла Маркса тем, что иначе он не мог приобщиться к общеевропейской культуре.

Ассимилятором я не был никогда, потому что всякое искусственное подражание, всякая мимикрия — всегда были мне противны. Не подлежит никакому сомнению, что каждый великий народ, обладающий к тому же тысячелетней культурой, имеет свой собственный лик, который нельзя менять, как меняют перчатки.

Результаты еврейского "абсентеизма" были весьма и весьма печальны. Еврейские массы, а также народная интеллигенция были брошены на произвол судьбы и попали под влияние главным образом отсталых элементов. Только еврейское рабочее и культурное движение несколько смягчило эти результаты. Гений Спинозы, Карла Маркса, Гейне и других не изменил положения, и еврейские массы продолжали прозябать также и духовно в "черте оседлости"...

Основные причины антисемитизма достаточно известны. Когда римская империя отняла в первом столетии христианской эры у евреев их национальную территорию, она их приговорила к национальной смерти. Евреи превратились в иностранцев во всем мире и жили исключительно по милости остальных народов.

"Евреев ненавидят не за то, что они того заслуживают, — писал Людвиг Берне, — а потому, что они вообще заслужены". Вольтер ненавидел их за то — по крайней мере, он сам так говорил, — что они создали христианство, эту "еврейскую секту", по его словам. Ренан упрекает их в том, что они фанатически преследовали это самое христианство. Я знавал одного французского ученого, натуралиста Жюлья Сори, который нас ненавидел за "оптимизм" — сам он был приверженцем Шопенгауэра. Другим, напротив, не нравится пессимизм наших пророков. Евреи, которым отказывают в праве на соперничество, объявлены нежелательными конкурентами. "Ловите вора-еврея!" — вопят все, чтобы спасти вора-нееврея.

Где же выход?

Усиление гонений евреев в ряде стран ставит перед еврейской интеллигенцией задачу приостановить вредное влияние, вытекающее из отчуждения этой самой интеллигенции от еврейских народных масс, которое мы назвали "абсентеизмом".

Как люди и как евреи, мы не можем оставаться глухими к страданиям нашего собственного народа. Эта солидарность существует даже независимо от нашей воли. Если великие евреи забыли о том, что они евреи, то наши враги этого, надо полагать, не забыли и не забудут.

Венский Ротшильд сидит в концлагере совершенно так же, как десятки тысяч несчастных еврейских бедняков. Грабят, пытаются, мучают и убивают и бедных, и богатых. Еврейская интеллигенция должна слиться с народом, испытать все его муки и вместе с ним искать пути и средства к спасению. Среди нас не должно быть Иосифов Флавиев, которые покидают народ в минуту национального несчастья, чтобы спрятаться самим.

Какого бы мировоззрения ни придерживались те или иные евреи, в одном согласны все: еврейский народ — носитель всех великих идей единства и человеческой общности в истории. Это народ, который дал миру все фундаментальные и универсальные идеи: монотеизм, пантеизм (Спиноза) и научный социализм (Карл Маркс). Поэтому еврейский народ нельзя покорить, его нельзя уничтожить иначе, как уничтожив всю человеческую цивилизацию. Исчезновение еврейского народа будет обозначать гибель человечества, окончательное превращение человека в дикого зверя.

Статьи Стефана Цвейга, Макса Брода и Шарля Раппопорта приводятся в сокращенном виде.

Публикацию подготовил М. Ор.

Давид ГОФШТЕЙН

ТРЕПЕЩУЩАЯ БОЛЬ НЕМАЯ...

По каналам Самиздата в редакцию поступили неопубликованные переводы стихов известного еврейского поэта Давида Гофштейна. Давид Гофштейн, замечательный еврейский лирик, погиб в августе 1952 г., будучи расстрелян вместе с другими известными деятелями еврейской культуры.

На тихих пажитях весенних диких далей
Еще сочится трепетная кровь,
И к сердцу черному прижала ночь
Боль оскверненных дней...

Но лоно мягкое туманов прорезают
Полоски пламени и ожиданью
Вычерчивают огненные знаки
Грядущего страдания!

И у ворот прозрачного рассвета
Как будто начеку
Звук мчащегося горна...

И к первому рынку
Вновь конница готова
В предчувствии удара битвы новой
И пронсящих равнин...

Я крикам радостей людских
В многогласице внимаю,
Но неизменная проглядывает в них
Трепещущая боль немая...

Когда готова ночь в безмолвном лоне
Упрятать день, я неустанно к далям
Душою пламенеющей тянусь...

Желанья тысячами уз
Меня сковали,
И за колесами, усталыми от битв,
Шагаю пленный я в полях просторных.

И с ними я готов к бодрящим звукам горна
И к новым заревам грядущего огня,
К страданиям очищающего дня!..

1926 г.

Там на горе, точно овцы, колоды
Пней полусгнивших столпились поодаль
Черным гуртом.

Знаете, знаете, там трепетала
Роща веселая... Только мне мало
Ведать о том, ведать о том!

Знаете, знаете, это отрадно —
 Будет со временем лес неоглядный
 Здесь зеленеть...

Дети мои под зеленые своды
 Сами себя приведут через годы —
 Я уже нет, я уже нет...

Все, что ни есть (о, как жаль) без возврата,
 Знаю, застынет когда-то, когда-то...
 Только со мной

Нынче великое ясное знание,
 Трепет вкушенья и трепет желанья —
 Дар золотой! Дар золотой!

1927 г.

Реже и реже приходит ко мне вдохновенье,
 Солнечное, как напиток долин золотых.
 Каждую клеткою жду дорогие мгновенья,
 Жду терпеливо, как прежде, предчувствуя их.

И, как когда-то, приходит лучистое слово —
 Трепет торжественный: будь наготове! пора!
 И потрясает внезапно до самой основы
 То, что еще на поверхности было вчера.

И озарясь становится мир многогранней,
 Весь — отражение скрытого в глуби огня...
 Милые гости, минуты свободных исканий,
 Чаше являйтесь и не оставляйте меня.

1939 г.

ИРПЕНЬ

1.

От городской дремоты и труда
 Я ненадолго вырвался сюда.
 Где звонкий воздух будит на рассвете...
 Река Ирпень, и лес, и в стороне
 Кукушка без конца кукует мне —
 Как видно, здесь щедры на многолетье...

Вновь синева кузнечиком поет.
 Цветов не счесть, просторы без предела...
 Неужто, если время пролетело —
 И мир другой, и ты уже не тот?..

Я увидел, что постарел лицом...
 И липа умирает над крыльцом,
 И на ступенях камень измельченный...
 Но облака склоняются к цветам,
 И лес, как прежде, жив, и столько там
 Деревьев старых бодро держат кроны!..

И в вечном изменении сполна
 Мне радость постоянства вручена.

2.

С добрым утром! И в ответ
 Воскликанья слышу те же!
 Снова делает рассвет
 Ясной голову и свежей.

И веселая трава
 Холодком приятна коже.
 И роса, и синева
 Поступь делают моложе.

И кукушка, словно дар.
Обещает долголетье —
Ты еще совсем не стар.
Будешь долго жить на свете!

1939г.

НАЧАЛО ВЕСНЫ

Ранний сон ко мне приходит.
Петушиный будит крик.
Что ни день — теплей в природе
И прекрасней, что ни миг.

Если б есть не нужно было,
Я, наверно, без вреда
Как перо макать в чернила
Позабыл бы навсегда.

На бумаге чувство куцо.
И зачем листы марать?
Столько песен остаются
Не попавшими в тетрадь.

На земле и небосводе
Красок всех не передать,
Что приходят и уходят,
И рождаются опять.

Разве я один на свете
Вдохновением живу
И воспеть желаю эти
Солнце, воздух, синеву?

Луна над верхушкою вяза,
Стоящего рядом, как страж,
Где скрыто пространство от глаза...
Таким мы рисуем пейзаж.

И только лишь сердцу известна
Меж деревом даль и луной.
От "вижу" до "чувствую" бездна
Довлеет одна надо мной.

И понял я — в этой тревоге,
С привычного снявшей покров,
Поэзии скрыты истоки,
Что песню творят из стихов.

И понял я — скрытое чувство
Незримого в нас говорит.
И, в нем начинаясь, искусство
Из красок картину творит.

1940 г.

МОЛИТВЫ

1.

Владыка души,
Всевидящий мой,
Не дай мне прожить
В заботе пустой.
Не то, чтоб я столь
Берег свой удел...
О, я не за боль
Награды б хотел.

Хочу одного -
 Меж горя и смут
 Мне тень бы того,
 Что целью зовут,
 Того бы глоток,
 Что смыслом зовем.
 На то бы намек,
 Что будет путем.

2.

Не боюсь я ни горя, ни пытки.
 Столько видел я боли и зла!
 Ты отмеривал радость в избытке,
 И мучением радость была!
 Не скупилась на бедствия годы,
 Чтобы смять и рассеять меня...
 Лучшей пробы я золото отдал
 Для творящего сплавы огня.
 Столько мне выпадало печали,
 Столько тяжких перечило сил!
 И стоял я один у развалин,
 И надежду свою сохранил.
 В лоне смерча и в черном буране,
 В проливных огнеметных громах
 Я сберег и руки простиранье,
 И открытого сердца размах...
 Брось меня в неживое пространство,
 Брось к бессмысленным безднам глухим,
 Чтоб хаос пред моим постоянством,
 Пред единством распался моим.

3

О владыка души, мысль и чувство со мной
 Да пребудут в течение жизни земной!

Но теперь я могу не испытывать дрожь,
 Ожидая, когда ты черту подведешь.

Не покоя прошу, но, когда суждено,
 Помоги умереть мне в мгновенье одно...

О владыка души, и в мгновение сам
 Я счастливый тебе все обратно отдам.

И тончайшую мысль, и нежнейшую грусть —
 Это лучшее, с чем на земле расстаюсь.

4.

Владыка дней моих!
 Ты знаешь, как в крушенье
 Искал я каждый миг
 И свет и утешенье.

Я дружбу и мечты
 Терял за промельк света...
 О, кто же, как не ты,
 Владыка, знает это?..

И мой народ живой
 Мне завещал старанье,
 Чтобы дары его
 Сберечь от умиранья.

5.

Смерть, когда б ты не пришла,
 Все еще слышна и зрима
 Та мне песня, что мила,
 Та картина, что любима.

Вижу дальних гор излом,
 Слышу песнь освобожденья,
 Что на языке родном
 Пробивает отчужденье.

Словно гор любой излом —
 Есть души моей изломы
 Иль на языке родном
 Отзвук песни, мне знакомой.

6.

Пусть в этой земле я неволен в моем пребыванье.
 Но уйти добровольно мне было бы горше вдвойне.
 О владыка души, мой единственный долг — в упованье
 Целовать эту землю, заботами близкую мне.

Как ни бедственна жизнь — перед нею не чувствую дрожи.
 Как ни тягостна скорбь — я нести это бремя привык.
 Веру в лучшие дни — недалекое время, быть может,
 Пробуждает во мне не скудеющий в сердце родник.

Лишь единственным кладом мне дорого здесь обладанье,
 Только сердцем моим, осознавшим с землею родство.
 Но затем, чтобы землю мою уберечь от страданья,
 Я сегодня с готовностью бросил бы в тигель его.

Против воли, владыка, я с этою связан землею,
 Только с нею в разлуке мне был бы и миг нестерпим.
 Лишь из творчества черпай, надежда, со всей полнотою
 И целуй эту землю, омытую словом твоим.

1942-1943 гг.

В магазинах русской книги продается

„Континент“ № 8

Ян Дрда — «Не притроньтесь к ним даже пальцем, не дайте им ни капли воды...».

Польские поэты в переводе **Иосифа Бродского**
Владимир Марамзин — Тянитолкай. Рассказ с авторским продолжением.

Наталья Горбаневская — Из последней книги стихов.

Ирина Одоевцева — Стихотворения.

Иржи Гохман — Чешский хэппенинг, роман (продолжение).

Казис Брадунас — Крестовый холм (перевод Василия Бетаки).

Вас. Гроссман — Жизнь и судьба. Главы из второй книги романа.

Борис Ямпольский — Последняя встреча с Василием Гроссманом (вместо послесловия).

Игорь Бурихин — Три стихотворения из цикла «Мой дом слово».

Наум Коржавин — Психология современного энтузиазма.

Збигнев Стыпулковский — «Приглашение» в Москву.

Карл-Густав Штрем — Два портрета из Югославии.

Лев Шестов — Дневник мыслей.

Борис Баженов — Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина).

Густав Герлинг-Грудзинский — Семь смертей Максима Горького

Евгений Шифферс — Скульптурный алфавит мастера

Э. Неизвестного.

Александр Бахрах — По памяти, по записям. Андре Жид.

М. Агурский — Безжалостная демифологизация.

Ф. Салказанова — «Левая» Франция.

В. Соколов — Дороги страдания.

Сол Беллоу — Интервью с самим собой.

Александр Солженицын — Выступление в Испании.

Главный редактор журнала —

Владимир Максимов

Представитель в Израиле — Михаил Агурский. Рамот, 6/30, Иерусалим.
 "Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ.,
 пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ., включая пере-
 сылку.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

МАРЕК ХЛАСКО. Польский писатель. Родился в Варшаве в 1934 году. Работал грузчиком, шофером. Печататься начал в 1955 году. Его первый сборник ("Первый шаг в облако") вышел в свет в 1957 году. В 1958 году Марек Хласко уезжает в Париж и в Польшу больше не возвращается. Некоторое время живет в Израиле. В 1969 году писатель кончает жизнь самоубийством.



МЕЛАМИД ЛЕВ. Родился в 1944 году. До 1974 года жил в Москве. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова. В настоящее время живет в Иерусалиме.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. См. журнал № 2.

МИХАИЛ ЛЕДЕР. См. журнал № 10.

ЗЕЕВ КАЦ. См. журнал № 4.

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. См. журнал № 2.

DIGEST OF ELEVENTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

MAREK HLASKO. "Repentant in Jaffo".

A novel; Translation from Polish.

A novel about young people, whom the crash of their illusions, fraud and falsehood have led to full merger with a corrupt world and turned into swindlers and rascals, parasitizing on abused confidence. The stylistic manner of the novel remembers Hemingway's i prose arguing against his immanent line. The "Hemingway Values" - faith, friendship, love, courage -- turn out to be objects of cheap jobblery to the Hlasko characters.

LEV MELAMID. "Dolce vita of Nikita Chrjashtch".

A small novel.

A novel about a doctor of a hospital for mental diseases and his patient. On the emptiness and futility of the live of modern Russian intellectuals, which bring him to the verge of suicide. As a background serve well caught details and scenes of the Leningrad and Moscow Bohemian everyday meetings.

LEA VLADIMIROVA. "Ballad of the seasons".

GEORGE BEN. From his recent translations.

PUBLICATIONS

Reprint from the yiddish almanach "At thecross-roads"(Paris, 1939) of the articles from three eminent Jewish men of letters. Stefan Zweig, Max Broad and Charles Rappoport express their altitude to the question: "Jews, should they take an active part in political life?"

NATALIA RUBINSTEIN. "To live in falsehood".

Critical notes on the last novel of Juri Trifonov, one of the keenest Soviet writers, "The House on the Quay".

MICHAEL BAYKALSKI. "The Kashketin executions".

Eye-witness recollections of one of the bloodiest Soviet- regime crimes, the mass-executions at the Vorkuta camps in 1937-38.

О ПОДПИСКЕ НА ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В соответствии с решением редколлегии от 20 августа 1976 года с первого сентября 1976 года объявляется подписка на второй год издания журнала "Время и мы" (с 13 по 24 номер).

В конце 1976 и 1977 году на страницах журнала намечается опубликовать произведения Андрея Синявского, Виктора Некрасова, Владимира Марамзина, А. Б. Иошуа, Бориса Хазанова, Григория Зиника, Наталии Рубинштейн, Виктора Перельмана, Феликса Камова, Иосифа Бродского и других писателей. Редколлегия видит свою задачу и в том, чтобы укрепить экономическую базу нашего издания, создать гонорарный фонд, помогающий привлечь к выступлениям в журнале лучших писателей современности.

В связи с этим и учитывая, что за истекший год произошло трехкратное подорожание бумаги и типографских материалов, введен налог на дополнительную стоимость и увеличилась стоимость доставки журнала, редколлегия приняла решение установить новые цены на подписку на журнал "Время и мы".

Годовая подписка — 264 лиры, полугодовая подписка — 144 лиры. Квартальная подписка отменяется. Цена одного номера в свободной продаже — 28 лир. Настоящие цены остаются неизменными в течение двух месяцев, то есть для лиц, подписавшихся до 1 ноября 1976 года. При оформлении подписки после 1 ноября стоимость журнала будет прикреплена к индексу цен и может быть увеличена в соответствии с увеличением индекса.

Для желающих подписаться на год устанавливается право внесения денег в три приема, то есть в форме трех чеков, однако последний должен подлежать оплате не позднее 1 декабря 1976 года. Для желающих подписаться на полгода устанавливается право внесения денег в два приема, то есть в форме двух чеков, однако последний должен подлежать оплате не позднее 15 ноября 1976 года.

В США И КАНАДЕ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ

сроком на 6 месяцев - 19.60 \$
на 12 месяцев - 39.20 \$
Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$
ВО ФРАНЦИИ

62/9 Nachmani st. Т.Д.
Tel 621085 на

сроком на 6 месяцев - 78 F.FR.
12 месяцев 156 F.FR.
Цена номера в открытой продаже - 19 F.FR.
В ГЕРМАНИИ

P.O.B. 24123

сроком на 6 месяцев - 46 DM
на 12 месяцев - 92 DM
Цена номера в открытой продаже - 10 DM

Заказ и чек присылать: ул. Нахмани, 62/9, Тель-Авив.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЯ И МЫ

принимает заказы на все виды типографско-издательских работ: издание книг, альбомов, брошюр, рекламных проспектов, выполнение художественно-оформительских и фоторабот.

Заказы принимаются как от израильских, так и зарубежных издательств и фирм, выполняются на русском и английском языках и по значительно более дешевым, чем за границей, ценам.

Наряду с этим издательство "Время и мы" осуществляет для израильских и зарубежных фирм переводы с английского и немецкого языков на русский, а также с иврита на русский и с русского на иврит.

Выполняются заказы на машинописные работы на русском и английском языках, на редактирование и корректуру рукописей. Принимаются также от израильских и зарубежных фирм все виды объявлений и коммерческой рекламы.

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством. Наряду с этим издательство принимает на себя работу по распространению этих книг в Израиле и за рубежом.



**НОВЫЙ ОЛЕ!
СТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ В "СОЛЕЛ-БОНЕ"**

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ КОНЦЕРНА ГИСТАД-РУТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ, ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА "СОЛЕЛ-БОНЕ", ПРИГЛАШАЮТ ТЕБЯ: ПРИСОЕДИНИСЬ К НАМ! СТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

**«СОЛЕЛ-БОНЕ»
ОТДЕЛ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

Главное бюро: Тель-Авив, ул. Моливер, 12,
тел. 58220

Принимает работников, обладающих опытом прокладки шоссейных и грунтовых дорог и строительства аэропортов: инженеров-дорожников, землемеров, геодезистов, техников и рабочих на тяжелое строительное оборудование — трактористов, водителей грузового транспорта, асфальтировщиков, бетонщиков, рабочих на трамбовочные машины и заделочные работы. Дополнительные данные — в отделах комбината в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беер-Шеве и Центральном управлении комбината.

**«СОЛЕЛ-БОНЕ», КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Главное бюро: Хайфа, Кикар СолеЛ-Боне,
тел. 669151

Принимает опытных рабочих в карьеры и каменоломни, на предприятия по выработке извести, гипса и мрамора. Для работы в каменоломнях требуются квалифицированные бурильщики, способные подрывники и работники по ремонту и эксплуатации оборудования.

На известковую фабрику в Шфее требуются сменные мастера, их помощники и ремонтные рабочие.

На предприятие строительного камня и мрамора требуются камнерезы, шлифовщики, граверы по камню, техники по эксплуатации и укладчики мрамора.

Дополнительные данные в филиалах комбината в Тель-Авиве, Иерусалиме и в дирекции комбината в Хайфе.

**«СОЛЕЛ-БОНЕ», ОТДЕЛ
ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

Главное бюро: Тель-Авив, ул. Алленби 126,
тел. 614681

Принимает рабочих с опытом работы в металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и бетонной промышленности.

На металлообрабатывающее предприятие требуются: техники, чертежники и рабочие на все виды металлообработки — слесари, токари, механики, обработчики стружки, ремонтники, электрики, мотористы дизельных установок и другого оборудования.

122£=п14!£Я. В СТРАНЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИИ СОЛЕЛ-БОНЕ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ВОРОТА ДЛЯ ПРИЕМА НОВЫХ ОЛИМ ВО ВСЕ СВОИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЫ - ОТ ШАРМ-А-ШЕЙХА ДО ГОЛАНА

Работа на предприятиях комбината в Иерусалиме, Хайфе, Гиват-Рамбам и в районе Беер-Шевы. На деревообрабатывающие предприятия требуются: плотники, столяры, станочники на оборудование по производству дверей, окон и других деревянных конструкций, транспортные рабочие, маляры и стажеры для работы на предприятиях «СолеЛ-Боне» в Ришон-Лецион, Иерусалиме и в районе Хайфского залива.

На завод «Хеймар» требуются: станочники и рабочие по производству плит, блоков и труб — для работы на предприятиях в Хайфе, Мигдал-Гаэмек и Нес-Цион. Дополнительные данные во всех управлениях предприятий и в дирекции комбината. В Мигдал-Гаэмек, в Нес-Циона — «Бейт-Овед», Рамат-Элиягу.

**«СОЛЕЛ-БОНЕ»,
ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Главное бюро: Тель-Авив, ул. Алленби, 111,
тел. 625311

Принимает работников следующих строительных специальностей: инженеров, техников, геодезистов, строительных рабочих — формовщиков, арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков и настильщиков полов, штукатуров, транспортных рабочих, крановщиков и рабочих на другие строительные механизмы.

Дополнительные данные — в филиалах комбината строительства: на юге — Эйлат, Ашкелон, Беер-Шева и Арад.

В центре — в Иерусалиме, в Тель-Авиве, Реховоге, Петах-Тикве, Кфар-Сабе, Герцлии и Нетании. На севере — в Хайфе, в Хадере, Эмек-Завулон, Акко, Афуле, Нацрате, Твери и Кирьят-Шмона.

**«СОЛЕЛ-БОНЕ», ОТДЕЛ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ**

«ХЕРУТ» ЛТД
Главное бюро, Тель-Авив, Дерех Яффо, 7,
тел. 50921

Принимает опытных работников всех специальностей строительной техники: сантехники, монтаж и установок центрального отопления, лифтов, установок кондиционирования воздуха и водопроводной системы, инженеров, техников и рабочих, трубокладчиков, сварщиков, жестянщиков, слесарей-механиков, электриков.

Дополнительные данные в филиалах: на юге — в Эйлате, Ашкелоне и Беер-Шеве.

В центре — в Иерусалиме, Тель-Авиве и Герцлии. На севере — в Хайфе, Хадере, Афуле и Кирьят-Шмона, кроме того — в управлении компании.

Художник Лев Ларский
Корректор Нина Островская
Технический редактор Наталия Ларская

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по поводу них редакция
в переписку не вступает.

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив.
Тел.621085.**

62/9 Nachmani st. T.A.

Tel: 621085.

На четвертой странице обложки — вид Хайфы.

